



Федор



ДОСТОЕВСКИЙ

Записки из Мертвого дома
Рассказы



Федор Достоевский
Записки из мертвого дома

«Public Domain»

1860

Достоевский Ф. М.

Записки из мертвого дома / Ф. М. Достоевский — «Public Domain», 1860

Книгу очерков «Записки из Мертвого дома» Ф.М.Достоевский написал вскоре после возвращения с каторги. Это уникальный документ, включающий рассказы о судьбах реальных заключенных, которых писатель встречал на каторжных работах, множество характерных выражений и поговорок, услышанных им из уст арестантов и солдат. Но это и глубокое философское произведение выдающегося мыслителя, главной идеей которого выступает Свобода как необходимое условие человеческого существования. «Несмотря ни на какие меры, живого человека нельзя сделать трупом», – утверждает автор «Записок из Мертвого дома».

© Достоевский Ф. М., 1860

© Public Domain, 1860

Содержание

Часть первая	5
Введение	5
I. Мертвый дом	8
II. Первые впечатления	16
III. Первые впечатления	26
IV. Первые впечатления	34
V. Первый месяц	44
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Федор Михайлович Достоевский

Записки из мертвого дома

Часть первая

Введение

В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквями – одной в городе, другой на кладбище, – города, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на город. Они обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями и всем остальным субалтерным чином.¹ Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, – или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы,² три года, и по истечении его тотчас же хлопчут о своем переводе и возвращаются восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они неправы: не только с служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев.³ Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натывается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сампятинадцать... Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться.

В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце, встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльнокаторжным второго разряда, за убийство жены своей, и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К.⁴ поселенцем. Он собственно приписан был к одной подгородной волости; но жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь пропитание обучением детей. В сибирских городах часто встречаются учителя из ссыльных поселенцев; ими не брезгают. Учат же они преимущественно французскому языку, столь необходимому на поприще жизни и о котором без них в отдаленных краях Сибири не имели бы и понятия. В первый раз

¹ ...субалтерным чином. – Субалтерными чинами в армии назывались младшие офицеры (нем. Subaltern Offizier); здесь: мелкие чиновники.

² ...термин службы... – т. е. установленный срок службы (лат. terminus – граница).

³ ...чрезвычайно достаточных инородцев. – Инородцами в царской России официально назывались нерусские кочевые народности.

⁴ ...в городке К. – Имеется в виду Кузнецк, где не раз бывал Достоевский в годы отбывания им солдатской службы в Сибири.

я встретил Александра Петровича в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного чиновника, Ивана Ивановича Гвоздиков, у которого было пять дочерей разных лет, подававших прекрасные надежды. Александр Петрович давал им уроки четыре раза в неделю, по тридцати копеек серебром за урок. Наружность его меня заинтересовала. Это был чрезвычайно бледный и худой человек, еще нестарый, лет тридцати пяти, маленький и тщедушный. Одет был всегда весьма чисто, по-европейски. Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, с строгой вежливостью выслушивал каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора. Я тогда же расспросил о нем Ивана Ивановича и узнал, что Горянчиков живет безукоризненно и нравственно и что иначе Иван Иванович не пригласил бы его для дочерей своих, но что он страшный нелюдим, ото всех прячется, чрезвычайно учен, много читает, но говорит весьма мало и что вообще с ним довольно трудно разговориться. Иные утверждали, что он положительно сумасшедший, хотя и находили, что в сущности это еще не такой важный недостаток, что многие из почетных членов города готовы всячески обласкать Александра Петровича, что он мог бы даже быть полезным, писать просьбы и проч. Полагали, что у него должна быть порядочная родня в России, может быть даже и не последние люди, но знали, что он с самой ссылки упорно пресек с ними всякие сношения, – одним словом, вредит себе. К тому же у нас все знали его историю, знали, что он убил жену свою еще в первый год своего супружества, убил из ревности и сам донес на себя (что весьма облегчило его наказание). На такие же преступления всегда смотрят как на несчастья и сожалеют о них. Но, несмотря на все это, чудак упорно сторонился от всех и являлся в людях только давать уроки.

Я сначала не обращал на него особенного внимания; но, сам не знаю почему, он мало-помалу начал интересоваться мной. В нем было что-то загадочное. Разговориться не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первейшею обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его долгие расспрашивать; да и на лице его после таких разговоров всегда виднелось какое-то страдание и утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Ивановича. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону. Я даже удивился. С тех пор, встречаясь со мной, он смотрел на меня как будто с каким-то испугом. Но я не унылся; меня что-то тянуло к нему, и месяц спустя я ни с того ни с сего сам зашел к Горянчикову. Разумеется, я поступил глупо и не деликатно. Он квартировал на самом краю города, у старухи мещанки, у которой была больная в чахотке дочь, а у той незаконнорожденная дочь, ребенок лет десяти, хорошенькая и веселенькая девочка. Александр Петрович сидел с ней и учил ее читать в ту минуту, как я вошел к нему. Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-нибудь преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза. Мы, наконец, уселись; он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?» Я заговорил с ним о нашем городке, о текущих новостях; он отмалчивался и злобно улыбался; оказалось, что он не только не знал самых обыкновенных, всем известных городских новостей, но даже не интересовался знать их. Заговорил я потом о нашем крае, о его потребностях; он слушал меня молча и до того странно смотрел мне в глаза, что мне стало, наконец, совестно за наш разговор. Впрочем, я чуть не раздражил его новыми книгами и журналами; они были у меня в руках, только что с почты, я предлагал их ему еще не разрезанные. Он бросил на них жадный взгляд, но тотчас же

переменил намерение и отклонил предложение, отзываясь недосугом. Наконец, я простился с ним и, выйдя от него, почувствовал, что с сердца моего спала какая-то несносная тяжесть. Мне было стыдно и показалось чрезвычайно глупым приставать к человеку, который именно поставляет своею главнейшею задачею – как можно подальше спрятаться от всего света. Но дело было сделано. Помню, что книг я у него почти совсем не заметил, и, стало быть, несправедливо говорили о нем, что он много читает. Однако же, проезжая раза два, очень поздно ночью, мимо его окон, я заметил в них свет. Что же делал он, просиживая до зари? Не писал ли он? А если так, что же именно?

Обстоятельства удалили меня из нашего городка месяца на три. Возвратясь домой уже зимою, я узнал, что Александр Петрович умер осенью, умер в уединении и даже ни разу не позвал к себе лекаря. В городке о нем уже почти позабыли. Квартира его стояла пустая. Я немедленно познакомился с хозяйкой покойника, намереваясь выведать у нее: чем особенно занимался ее жилец и не писал ли он чего-нибудь? За двугривенный она принесла мне целое лукошко бумаг, оставшихся после покойника. Старуха призналась, что две тетрадки она уж истратила. Это была угрюмая и молчаливая баба, от которой трудно было допытаться чего-нибудь путного. О жильце своем она не могла сказать мне ничего особенно нового. По ее словам, он почти никогда ничего не делал и по месяцам не раскрывал книги и не брал пера в руки; зато целые ночи прохаживал взад и вперед по комнате и все что-то думал, а иногда и говорил сам с собою; что он очень полюбил и очень ласкал ее внучку, Катю, особенно с тех пор, как узнал, что ее зовут Катей, и что в Катеринин день каждый раз ходил по ком-то служить панихиду. Гостей не мог терпеть; со двора выходил только учить детей; косился даже на нее, старуху, когда она, раз в неделю, приходила хоть немножко прибраться в его комнате, и почти никогда не сказал с нею ни единого слова в целых три года. Я спросил Катю: помнит ли она своего учителя? Она посмотрела на меня молча, отвернулась к стенке и заплакала. Стало быть, мог же этот человек хоть кого-нибудь заставить любить себя.

Я унес его бумаги и целый день перебирал их. Три четверти этих бумаг были пустые, незначащие лоскутки или ученические упражнения с прописей. Но тут же была одна тетрадка, довольно объемистая, мелко исписанная и недоконченная, может быть заброшенная и забытая самим автором. Это было описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни, вынесенной Александром Петровичем. Местами это описание прерывалось какою-то другою повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно, как будто по какому-то принуждению. Я несколько раз перечитывал эти отрывки и почти убедился, что они писаны в сумасшествии. Но каторжные записки – «Сцены из Мертвого дома», – как называет он их сам где-то в своей рукописи, показались мне не совсем безынтересными. Совершенно новый мир, до сих пор неведомый, странность иных фактов, некоторые особенные заметки о погибшем народе увлекли меня, и я прочел кое-что с любопытством. Разумеется, я могу ошибаться. На пробу выбираю сначала две-три главы; пусть судит публика...

I. Мертвый дом

Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, помотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть чего-нибудь? – и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу день и ночь расхаживают часовые, и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же пойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба. Представьте себе большой двор, шагов в двести длины и шагов в полтора ширины, весь обнесенный кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками и сверху заостренных: вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми; их отпирали по требованию, для выпуска на работу. За этими воротами был светлый, вольный мир, жили люди, как и все. Но по сю сторону ограды о том мире представляли себе, как о какой-то несбыточной сказке. Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий; тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо мертвый дом, жизнь – как нигде, и люди особенные. Вот этот-то особенный уголок я и принимаюсь описывать.

Как входите в ограду – видите внутри ее несколько зданий. По обеим сторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба. Это казармы. Здесь живут арестанты, размещенные по разрядам. Потом, в глубине ограды, еще такой же сруб: это кухня, разделенная на две артели; далее еще строение, где под одной крышей помещаются погреба, амбары, сараи. Средине двора пустая и составляет ровную, довольно большую площадку. Здесь строятся арестанты, происходит поверка и переключка утром, в полдень и вечером, иногда же и еще по нескольку раз в день, – судя по мнительности караульных и их уменью скоро считать. Кругом, между строениями и забором, остается еще довольно большое пространство. Здесь, по задачам строений, иные из заключенных, понелюдимее и помрачнее характером, любят ходить в нерабочее время, закрытые от всех глаз, и думать свою думушку. Встречаясь с ними во время этих прогулок, я любил всматриваться в их угрюмые, клейменные лица и угадывать, о чем они думают. Был один ссыльный, у которого любимым занятием в свободное время было считать пали. Их было тысячи полторы, и у него они были все на счету и на примете. Каждая палья означала у него день; каждый день он отсчитывал по одной пале и таким образом, по оставшемуся числу несосчитанных палей, мог наглядно видеть, сколько дней еще остается ему пробыть в остроге до срока работы.⁵ Он был искренно рад, когда доканчивал какую-нибудь сторону шестиугольника. Много лет приходилось еще ему дожидаться; но в остроге было время научиться терпению. Я видел раз, как прощался с товарищами один арестант, пробывший в каторге двадцать лет и, наконец, вышедший на волю. Были люди, помнившие, как он вошел в острог первый раз, молодой, беззаботный, не думавший ни о своем преступлении, ни о своем наказании. Он выходил седым стариком, с лицом угрюмым и грустным. Молча обошел он все наши шесть казарм. Входя в каждую казарму, он молился на образа и потом низко, в пояс, откланивался товарищам, прося не поминать его лихом. Помню я тоже, как однажды одного арестанта, прежде зажиточного сибирского мужика, раз под вечер позвали к воротам. Полгода перед этим получил он известие, что бывшая его жена вышла замуж, и крепко запечалился. Теперь она сама подъехала к острогу, вызвала его и подала ему подавание. Они поговорили

⁵ ...считать пали... до срока работы – автобиографический эпизод. О привычке считать пали Достоевский вспоминал позднее в рассказе «Мужик Марей»

минуты две, оба всплакнули и простились навеки. Я видел его лицо, когда он возвращался в казарму... Да, в этом месте можно было научиться терпению.

Когда смеркалось, нас всех вводили в казармы, где и запирали на всю ночь. Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десять лет. На нарах у меня было три доски: это было все мое место. На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимой запирали рано; часа четыре надо было ждать, пока все засыпали. А до того – шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменные лица, лоскутные платья, все – обруганное, ошельмованное... да, живуч человек! Человек есть существо, ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение.

Помещалось нас в остроге всего человек двести пятьдесят – цифра почти постоянная. Одни приходили, другие кончали сроки и уходили, третьи умирали. И какого народу тут не было! Я думаю, каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей. Были и инородцы, было несколько ссыльных даже из кавказских горцев. Все это разделялось по степени преступлений, а следовательно, по числу лет, определенных за преступление. Надо полагать, что не было такого преступления, которое бы не имело здесь своего представителя. Главное основание всего острожного населения составляли ссыльнокаторжные разряда гражданского (*сильно* каторжные,⁶ как наивно произносили сами арестанты). Это были преступники, совершенно лишённые всяких прав состояния, отрезанные ломти от общества, с проклейменным лицом для вечного свидетельства об их отвержении. Они присылались в работу на сроки от восьми до двенадцати лет и потом рассылались куда-нибудь по сибирским волостям в поселенцы. Были преступники и военного разряда, не лишённые прав состояния, как вообще в русских военных арестантских ротах. Присылались они на короткие сроки; по окончании же их поворачивались туда же, откуда пришли, в солдаты, в сибирские линейные батальоны. Многие из них почти тотчас же возвращались обратно в острог за вторичные важные преступления, но уже не на короткие сроки, а на двадцать лет. Этот разряд назывался «всегдашним». Но «всегдашние» все еще не совершенно лишались всех прав состояния. Наконец, был еще один особый разряд самых страшных преступников, преимущественно военных, довольно многочисленный. Назывался он «особым отделением». Со всей Руси присылались сюда преступники. Они сами считали себя вечными и срока работ своих не знали. По закону им должно было удвоить и утроить рабочие уроки. Содержались они при остроге впредь до открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ. «Вам на срок, а нам вдоль по каторге», – говорили они другим заключенным. Я слышал потом, что разряд этот уничтожен. Кроме того, уничтожен при нашей крепости и гражданский порядок, а заведена одна общая военно-арестантская рота. Разумеется, с этим вместе переменялось и начальство. Я описываю, стало быть, старину, дела давно минувшие и прошедшие...

Давно уж это было; всё это снится мне теперь, как во сне. Помню, как я вошел в острог. Это было вечером, в декабре месяце. Уже смеркалось; народ возвращался с работы; готовились к проверке. Усатый унтер-офицер отворил мне, наконец, двери в этот странный дом, в котором я должен был пробыть столько лет, вынести столько таких ощущений, о которых, не испытав их на самом деле, я бы не мог иметь даже приблизительного понятия. Например, я бы никак не мог представить себе: что страшного и мучительного в том, что я во все десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду один? На работе всегда под конвоем, дома с двумястами товарищей и ни разу, ни разу – один! Впрочем, к этому ли еще мне надо было привыкать!

Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойников. Были просто мазурики и бродяги-промышленники по находным деньгам или по столовской

⁶ ...*сильно каторжные* – выражение острожников, записанное Достоевским на каторге.

части.⁷ Были и такие, про которых трудно было решить: за что бы, кажется, они могли прийти сюда? А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля. Вообще о былом своем они говорили мало, не любили рассказывать и, видимо, старались не думать о прошедшем. Я знал из них даже убийц до того веселых, до того никогда не задумывающихся, что можно было биться об заклад, что никогда совесть не сказала им никакого упрека. Но были и мрачные лица, почти всегда молчаливые. Вообще жизнь свою редко кто рассказывал, да и любопытство было не в моде, как-то не в обычае, не принято. Так разве, изредка разговорится кто-нибудь от безделья, а другой хладнокровно и мрачно слушает. Никто здесь никого не мог удивить. «Мы – народ грамотный!» – говорили они часто с каким-то странным самодовольствием. Помню, как однажды один разбойник, хмельной (в каторге иногда можно было напиться), начал рассказывать, как он зарезал пятилетнего мальчика, как он обманул его сначала игрушкой, завел куда-то в пустой сарай, да там и зарезал. Вся казарма, доселе смеявшаяся его шуткам, закричала, как один человек, и разбойник принужден был замолчать; не от негодования закричала казарма, а так, потому что *не надо было про это* говорить; потому что говорить *про это* не принято. Замечу кстати, что этот народ был действительно грамотный и даже не в переносном, а в буквальном смысле. Наверно, более половины из них умело читать и писать. В каком другом месте, где русский народ собирается в больших массах, отделите вы от него кучу в двести пятьдесят человек, из которых половина была бы грамотных? Слышал я потом, кто-то стал выводить из подобных же данных, что грамотность губит народ.⁸ Это ошибка: тут совсем другие причины; хотя и нельзя не согласиться, что грамотность развивает в народе самонадеянность. Но ведь это вовсе не недостаток. Различались все разряды по платью:⁹ у одних половина куртки была темно-бурая, а другая серая, равно и на панталонах – одна нога серая, а другая темно-бурая. Один раз, на работе, девчонка-калашница, подошедшая к арестантам, долго всматривалась в меня и потом вдруг захохотала. «Фу, как не славно! – закричала она, – и серого сукна не достало, и черного сукна не достало!» Были и такие, у которых вся куртка была одного серого сукна, но только рукава были темно-бурые. Голова тоже брилась по-разному: у одних половина головы была выбрита вдоль черепа, у других поперек.

С первого взгляда можно было заметить некоторую резкую общность во всем этом странном семействе; даже самые резкие, самые оригинальные личности, царившие над другими невольно, и те старались попасть в общий тон всего острога. Вообще же скажу, что весь этот народ, за некоторыми немногими исключениями неистощимо-веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим презрением, – был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист. Способность ничему не удивляться была величайшею добродетелью. Все были помешаны на том, как наружно держать себя. Но нередко самый заносчивый вид с быстротою молнии сменялся на самый малодушный. Было несколько истинно сильных людей; те были просты и не кривлялись. Но странное дело: из этих настоящих, сильных людей было несколько тщеславных до последней крайности, почти до болезни. Вообще тщеславие, наружность были на первом плане. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были непрерывные: это был ад, тьма крошечная. Но против внутренних уставов и принятых обычаев острога никто не смел восставать; все подчинялось. Бывали характеры резко выдающиеся, трудно, с усилием подчинявшиеся, но

⁷ ...промышленники по находным деньгам или по столовской части – выражение из тюремно-воровского жаргона: воровство со взломом.

⁸ ...кто-то стал выводить из подобных же данных, что грамотность губит народ. – Достоевский полемизирует с рядом статей в тогдашней русской печати, авторы которых (В. И. Даль, И. С. Беллюстин) утверждали, что грамотность вредит простонародью, способствуя росту числа уголовных преступлений.

⁹ Различались все разряды по платью... – Достоевский принадлежал ко второму разряду арестантов гражданского ведомства. Арестанты этого разряда носили серую пополам с черным куртку с желтым тузом на спине.

все-таки подчинявшиеся. Приходили в острог такие, которые уж слишком зарвались, слишком выскочили из мерки на воле, так что уж и преступления свои делали под конец как будто не сами собой, как будто сами не зная зачем, как будто в бреду, в чаду; часто из тщеславия, возбужденного в высочайшей степени. Но у нас их тотчас осаживали, несмотря на то, что иные, до прибытия в острог, бывали ужасом целых селений и городов. Оглядываясь кругом, новичок скоро замечал, что он не туда попал, что здесь дивить уже некого, и неприметно смирялся, и попадал в общий тон. Этот общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного, собственного достоинства, которым был проникнут чуть не каждый обитатель острога. Точно в самом деле звание каторжного, решеного, составляло какой-нибудь чин, да еще и почетный. Ни признаков стыда и раскаяния! Впрочем, было и какое-то наружное смирение, так сказать официальное, какое-то спокойное резонерство: «Мы погибший народ, – говорили они, – не умел на воле жить, теперь ломай зеленую улицу, поверяй ряды».¹⁰ – «Не слушался отца и матери, послушайся теперь барабанной шкуры». – «Не хотел шить золотом, теперь бей камни молотом». Всё это говорилось часто, и в виде нравоучения, и в виде обыкновенных поговорок и присловий, но никогда серьезно. Все это были только слова. Вряд ли хоть один из них сознавался внутренне в своей незаконности. Попробуй кто не из каторжных упрекнуть арестанта его преступлением, выбрать его (хотя, впрочем, не в русском духе попрекать преступника) – ругательствам не будет конца. А какие были они все мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство возведено было у них в науку; старались взять не столько обидным словом, сколько обидным смыслом, духом, идеей – а это утонченнее, ядовитее. Бесперывные ссоры еще более развивали между ними эту науку. Весь этот народ работал из-под палки, следственно он был праздный, следственно развращался: если и не был прежде развращен, то в каторге развращался. Все они собрались сюда не своей волей; все они были друг другу чужие.

«Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу!» – говорили они про себя сами; а потому сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, свара, злость были всегда на первом плане в этой кромешной жизни. Никакая баба не в состоянии была быть такой бабой, как некоторые из этих душегубцев. Повторяю, были и между ними люди сильные, характеры, привыкшие всю жизнь свою ломить и повелевать, закаленные, бесстрашные. Этим как-то невольно уважали; они же, с своей стороны, хотя часто и очень ревнивы были к своей славе, но вообще старались не быть другим в тягость, в пустые ругательства не вступали, вели себя с необыкновенным достоинством, были рассудительны и почти всегда послушны начальству – не из принципа послушания, не из сознания обязанностей, а так, как будто по какому-то контракту, сознав взаимные выгоды. Впрочем, с ними и поступали осторожно. Я помню, как одного из таких арестантов, человека бесстрашного и решительного, известного начальству своими зверскими наклонностями, за какое-то преступление позвали раз к наказанию. День был летний, пора нерабочая. Штаб-офицер, ближайший и непосредственный начальник острога,¹¹ приехал сам в кордегардию,¹² которая была у самых наших ворот, присутствовать при наказании. Этот майор был какое-то фатальное существо для арестантов, он довел их до того, что они его трепетали. Был он до безумия строг, «бросался на людей», как говорили каторжные. Всего более страшились они в нем его пронизательного, рысего взгляда, от которого нельзя было ничего утаить. Он видел как-то не глядя. Входя в острог, он уже знал, что делается на другом конце его.

¹⁰ ...ломай зеленую улицу, поверяй ряды. – Выражение имеет значение: пройти сквозь строй солдат со шпирнутенами, получая определенное судом число ударов по обнаженной спине.

¹¹ Штаб-офицер, ближайший и непосредственный начальник острога... – Известно, что прототипом этого офицера послужил плац-майор Омского острога В. Г. Кривцов. В письме к брату от 22 февраля 1854 г. Достоевский писал: «Плац-майор Кривцов – каналья, каких мало, мелкий варвар, сутяга, пьяница, все что только можно представить отвратительного». Кривцов был отставлен, а затем за злоупотребления предан суду.

¹² Кордегардия – помещение для военного караула (от фр. corps de garde).

Арестанты звали его восьмиглазым. Его система была ложная. Он только озлоблял уже озлобленных людей своими бешеными, злыми поступками, и если б не было над ним коменданта, человека благородного и рассудительного,¹³ умерявшего иногда его дикие выходки, то он бы наделал больших бед своим управлением. Не понимаю, как мог он кончить благополучно; он вышел в отставку жив и здоров, хотя, впрочем, и был отдан под суд.

Арестант побледнел, когда его кликнули. Обыкновенно он молча и решительно ложился под розги, молча терпел наказание и вставал после наказания, как востряпанный, хладнокровно и философски смотря на приключившуюся неудачу. С ним, впрочем, поступали всегда осторожно. Но на этот раз он считал себя почему-то правым. Он побледнел и, тихонько от конвоя, успел сунуть в рукав острый английский сапожный нож. Ножи и всякие острые инструменты страшно запрещались в остроге. Обыски были частые, неожиданные и нешуточные, наказания жестокие; но так как трудно отыскать у вора, когда тот решился что-нибудь особенно спрятать, и так как ножи и инструменты были всегдашнею необходимостью в остроге, то, несмотря на обыски, они не переводились. А если и отбирались, то немедленно заводились новые. Вся каторга бросилась к забору и с замиранием сердца смотрела сквозь щели паль. Все знали, что Петров¹⁴ в этот раз не захочет лечь под розги и что майору пришел конец. Но в самую решительную минуту наш майор сел на дрожки и уехал, поручив исполнение экзекуции другому офицеру. «Сам бог спас!» – говорили потом арестанты. Что же касается до Петрова, он преспокойно вытерпел наказание. Его гнев прошел с отъездом майора. Арестант послушен и покорен до известной степени; но есть крайность, которую не надо переходить. Кстати: ничего не может быть любопытнее этих странных вспышек нетерпения и строптивости. Часто человек терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь малости, на каком-нибудь пустяке, почти за ничто. На иной взгляд можно даже назвать его сумасшедшим; да так и делают.

Я сказал уже, что в продолжение нескольких лет я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении и что большая часть из них внутренне считает себя совершенно правыми. Это факт. Конечно, тщеславие, дурные примеры, молодчество, ложный стыд во многом тому причиною. С другой стороны, кто может сказать, что выследил глубину этих погибших сердец и прочел в них сокровенное от всего света? Но ведь можно же было, во столько лет, хоть что-нибудь заметить, поймать, уловить в этих сердцах хоть какую-нибудь черту, которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании. Но этого не было, положительно не было. Да, преступление, кажется, не может быть осмыслено с данных, готовых точек зрения, и философия его несколько потруднее, чем полагают. Конечно, остроги и система насильных работ не исправляют преступника; они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших покушений злодея на его спокойствие. В преступнике же острог и самая усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное легкомыслие. Но я твердо уверен, что знаменитая келейная система¹⁵ достигает только ложной, обманчивой, наружной цели. Она высасывает жизненный сок из человека, энервирует¹⁶ его душу, ослабляет ее, пугает ее и потом нравственно иссохшую мумию, полусумасшедшего представляет как образец исправления и

¹³ ...коменданта, человека благородного и рассудительного... – Комендантом Омской крепости был полковник А. Ф. де Граве, по воспоминаниям старшего адъютанта омского корпусного штаба Н. Т. Черевина, «добрейший и достойнейший человек».

¹⁴ Петров. – В документах Омского острога есть запись о том, что арестант Андрей Шаломенцев был наказан «за сопротивление против плац-майора Кривцова при наказании его розгами и произнесении слов, что непременно над собою что-нибудь сделает или зарежет Кривцова». Этот арестант, возможно, был прототипом Петрова, он пришел на каторгу «за сорвание с ротного командира эполет».

¹⁵ ...знаменитая келейная система... – Система одиночного тюремного заключения. Вопрос об устройстве в России одиночных тюрем по образцу лондонской тюрьмы был выдвинут самим Николаем I.

раскаяния. Конечно, преступник, восставший на общество, ненавидит его и почти всегда считает себя правым, а его виноватым. К тому же он уже потерпел от него наказание, а чрез это почти считает себя очищенным, сквитавшимся. Можно судить, наконец, с таких точек зрения, что чуть ли не придется оправдать самого преступника. Но, несмотря на всевозможные точки зрения, всякий согласится, что есть такие преступления, которые всегда и везде, по всевозможным законам, с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, покамест человек останется человеком. Только в остроге я слышал рассказы о самых страшных, о самых неестественных поступках, о самых чудовищных убийствах, рассказанные с самым неудержимым, с самым детски веселым смехом. Особенно не выходит у меня из памяти один отцеубийца.¹⁷ Он был из дворян, служил и был у своего шестидесятилетнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал; но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и – сын убил его, жажда наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал объявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провел самым развратным образом. Наконец, в его отсутствие, полиция нашла тело. На дворе, во всю длину его, шла канавка для стока нечистот, прикрытая досками. Тело лежало в этой канавке. Оно было одето и убрано, седая голова была отрезана прочь, приставлена к туловищу, а под голову убийца подложил подушку. Он не сознался; был лишен дворянства, чина и сослан в работу на двадцать лет. Всё время, как я жил с ним, он был в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа. Это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец. Я никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. Арестанты презирали его не за преступление, о котором не было и помину, а за дурь, за то, что не умел вести себя. В разговорах он иногда вспоминал о своем отце. Раз, говоря со мной о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он прибавил: «Вот *родитель мой*, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь». Такая зверская бесчувственность, разумеется, невозможна. Это феномен; тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще неизвестное науке, а не просто преступление. Разумеется, я не верил этому преступлению. Но люди из его города, которые должны были знать все подробности его истории, рассказывали мне все его дело. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить.

Арестанты слышали, как он кричал однажды ночью во сне: «Держи его, держи! Голову-то ему руби, голову, голову!...»

Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ битый, – говорили они, – у нас нутро отбитое; оттого и кричим по ночам».

Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью: арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой, сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу, насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения имел

¹⁷ ...*один отцеубийца* ... – Прообразом дворянина-«отцеубийцы» был Д. Н. Ильинский, о котором до нас дошло семь томов его судебного дела. Внешне, в событийно-фабульном отношении этот мнимый «отцеубийца» – прообраз Мити Карамазова в последнем романе Достоевского.

свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую. Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но учились у других и потом выходили на волю хорошими мастерами. Тут были и сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили. Деньги и табак спасали от цынготной и других болезней. Работа же спасала от преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в стеклянке. Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и – как ни прятались деньги, а все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.

Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщицеством. Арестант, замотавшийся или разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщицество до того процветало, что принимались под заклад даже казенные смотровые вещи, как то: казенное белье, сапожный товар и проч., – вещи, необходимые всякому арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству. Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и угрюмо возвращал, что следовало, и даже как будто сам ожидал, что так будет. Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так только, для очистки совести.

Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь в каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея

меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в острог проносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги, выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность, хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что во все время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по целому месяцу, но, наконец, все-таки не выдерживал... Благодаря этим-то личностям вино не оскудевало в остроге.

Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но постоянный и благотворительный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш. Подаяние бывает почти непрерывное и почти всегда хлебом, сайками и калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах, арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решенных, было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну. Если неостанет на всех, то калачи нарезаются поровну, иногда даже на шесть частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали. Увидя меня, девочка покраснела, пошептала что-то матери; та тотчас же остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та бросилась бежать за мной... «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку¹⁸», – кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку я долго берег у себя.

¹⁸ ...возьми Христа ради копеечку ... – По свидетельству жены писателя А. Г. Достоевской, это автобиографический эпизод: он повторен в «Преступлении и наказании» (ч. II, гл. 2).

II. Первые впечатления

Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стусевались, слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое, однообразное, удушающее.

Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.

Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или, лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю неожиданность такого существования и все более и более дивился на него. Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей каторги; я никогда не мог примириться с нею.

Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое отвратительное; но, несмотря на то, – странное дело! – мне показалось, что в остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень немногие), а по ночам иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так тяжелою, *каторжною*, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и *каторжность* этой работы не столько в трудности и непрерывности ее, сколько в том, что она – *принужденная*, обязательная, из-под палки. Мужик на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам, особенно летом; но он работает на себя, работает с разумною целью, и ему несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она разумна: арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ее ловчее, спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, – я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячи преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение, и было бы бессмысленно, потому что не достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки, бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно тем, что вынужденная.

Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег, нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случилось кой-какой своей

работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть арестантов; остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если наворачивались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать. Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы, в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это: *вынужденное общее сожитительство*. Общее сожитительство, конечно, есть и в других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось бы сживатьсь с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку, хотя, конечно, большею частью бессознательно.

Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли, что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на это никакого внимания.

Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне пришлось выйти из острога, чтоб перекопаться. Кандалы мои были неформенные, кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу. Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиной, соединенных между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.

Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой сальной свечи,¹⁹ подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили свои клейменные лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе руки и лицо изо рта. Вода заготавливалась с вечера парашником. Во всякой казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра – утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один, начались немедленно ссоры.

– Куда лезешь, язевый лоб!²⁰ – ворчал один угрюмый, высокий арестант, сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом, – постой!

¹⁹ ...от шестериковой сальной свечи ... – Так назывались свечи, продававшиеся на вес, по шести на фунт.

²⁰ ...язевый лоб! – Язевый – клейменный.

– Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь, монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.

«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того только и надо было веселому толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим презрением.

– Бирюлина корова! – проговорил он как бы про себя, – ишь, отъелся на острожном чистяке!²¹ Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.

Толстяк наконец рассердился.

– Да ты что за птица такая? – вскричал он вдруг, раскрасневшись.

– То и есть, что птица!

– Какая?

– Такая.

– Какая такая?

– Да уж одно слово такая.

– Да какая?

Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки, как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет драка. Для меня все это было так ново, и я смотрел с любопытством. Но впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало нравы острога.

Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было поддержать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника, стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху вниз, как будто он разглядывал его, как букашку, и медленно и внятно произнес:

– Каган!..

То есть, что он птица каган.²² Громкий залп хохота приветствовал находчивость арестанта.

– Подлец ты, а не каган! – заревел толстяк, почувствовав, что срезался на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.

Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.

– Что загалдели! – закричала на них вся казарма.

– Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! – прокричал кто-то из-за угла.

– Да, держи, подерутся! – раздалось в ответ. – У нас народ бойкий, задорный; семеро одного не боимся...

– Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой – крыночная блудница,²³ у бабы простокишу поел,²⁴ за то и кнута хватил.

– Ну-ну-ну! полно вам, – закричал инвалид, проживавший для порядка в казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.

– Вода, ребята! Невадил Петрович проснулся! Невадилу Петровичу, родимому братцу!

– Брат... Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! – ворчал инвалид, натягивая в рукава шинель...

Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых шапках у хлеба, который

²¹ Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Примеч. автора.)

²² ...птица каган. – По народным поверьям, вещая (в просторечном языке арестантов Омского острога – важная) птица.

²³ ...крыночная блудница ... – Прозвище тех, кто попал в Сибирь за пустяковую вину.

²⁴ ...простокишу поел ... – Бежал из острога и тут же был пойман.

резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для резания хлеба и мяса, на всю кухню один.

По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по углам.

– Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! – проговорил молодой арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.

– Ну, здравствуй, коли не шутишь, – проговорил тот, не поднимая глаз и стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.

– А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.

– Нет, ты сперва помри, а я после...

Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта, видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.

– У меня небось не украдут, – говорил один, – я, брат, сам боюсь, как бы чего не украсть.

– Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.

– Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет... она тебя обереет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась. Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу: у него еще в форштадте²⁵ дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида, купил, вот еще который потом удавился...

– Знаю. Он у нас в третьем годе в целовальниках сидел, а по прозвищу Гришка – Темный кабак. Знаю.

– А вот и не знаешь; это другой Темный кабак.

– Как не другой! Знать ты толсто знаешь! Да я тебе столько посредственников приведу...

– Приведешь! Ты откуда, а я чей?

– Чей! Да я вот тебя и *бивал*, да не хвастаю, а то еще чей!

– Ты бивал! Да кто меня прибьет, еще тот не родился; а кто бивал, тот в земле лежит.

– Чума бендерская!²⁶

– Чтоб те язвила язва сибирская!

– Чтоб с тобой говорила турецкая сабля!..

И пошла ругань.

– Ну-ну-ну! Загалдели! – закричали кругом. – На воле не умели жить; рады, что здесь до чистяка добрались...

Тотчас уймут. Ругаться, «колотить» языком позволяется. Это отчасти и развлечение для всех. Но до драки не всегда допустят, и только разве в исключительном случае враги подерутся. О драке донесут майору; начнутся розыски, приедет сам майор, – одним словом, всем нехорошо будет, а потому-то драка и не допускается. Да и сами враги ругаются больше для развлечения, для упражнения в слоге. Нередко сами себя обманывают, начинают с страшной горячкой, остервенением... думаешь: вот бросятся друг на друга; ничуть не бывало: дойдут до известной точки и тотчас расходятся. Все это меня сначала чрезвычайно удивляло. Я нарочно привел здесь пример самых обыкновенных каторжных разговоров. Не мог я представить себе сперва, как можно ругаться из удовольствия, находить в этом забаву, милое упражнение, приятность? Впрочем, не надо забывать и тщеславия. Диалектик-ругатель был в уважении. Ему только что не аплодировали, как актеру.

Еще вчера с вечера заметил я, что на меня смотрят косо.

²⁵ *Форштадт* (от нем. Vorstadt) – предместье, слобода.

²⁶ *Чума бендерская!* – Народное наименование эпидемии чумы, свирепствовавшей в 1765–1772 гг. в г. Бендеры.

Я уже поймал несколько мрачных взглядов. Напротив, другие арестанты ходили около меня, подозревая, что я принес с собой деньги. Они тотчас же стали подслуживаться: начали учить меня, как носить новые кандалы; достали мне, конечно за деньги, сундучок с замком, чтоб спрятать в него уже выданные мне казенные вещи и несколько моего белья, которое я принес в острог. На другой же день они у меня его украли и пропили. Один из них сделался впоследствии преданнейшим мне человеком, хотя и не переставал обкрадывать меня при всяком удобном случае. Он делал это без всякого смущения, почти бессознательно, как будто по обязанности, и на него невозможно было сердиться.

Между прочим, они научили меня, что должно иметь свой чай, что не худо мне завести и чайник, а покамест достали мне на подержание чужой и рекомендовали мне кашевара, говоря, что копеек за тридцать в месяц он будет стряпать мне что угодно, если я пожелаю есть особо и покупать себе провиант... Разумеется, они заняли у меня денег, и каждый из них в один первый день приходил занимать раза по три.

На бывших дворян в каторге вообще смотрят мрачно и неблагоприятно.

Несмотря на то, что те уже лишены всех своих прав состояния и вполне сравнены с остальными арестантами, – арестанты никогда не признают их своими товарищами. Это делается даже не по сознательному предубеждению, а так, совершенно искренно, бессознательно. Они искренно признавали нас за дворян, несмотря на то, что сами же любили дразнить нас нашим падением.

– Нет, теперь полно! постой! Бывало, Петр через Москву прет, а нынче Петр веревки вьет, – и проч. и проч. любезности.

Они с любовью смотрели на наши страдания, которые мы старались им не показывать. Особенно доставалось нам сначала на работе, за то, что в нас не было столько силы, как в них, и что мы не могли им вполне помогать. Нет ничего труднее, как войти к народу в доверенность (и особенно к такому народу) и заслужить его любовь.

В каторге было несколько человек из дворян. Во-первых, человек пять поляков. Об них я поговорю когда-нибудь особо. Каторжные страшно не любили поляков, даже больше, чем ссыльных из русских дворян. Поляки (я говорю об одних политических преступниках) были с ними как-то утонченно, обидно вежливы, крайне несообщительны и никак не могли скрыть перед арестантами своего к ним отвращения, а те понимали это очень хорошо и платили той же монетою.

Мне надо было почти два года прожить в остроге, чтоб приобрести расположение некоторых из каторжных. Но большая часть из них, наконец, меня полюбила и признала за «хорошего» человека.

Из русских дворян, кроме меня, было четверо. Один – низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу. Я слышал о нем еще до прихода в острог и с первых же дней прервал с ним всякие отношения. Другой – тот самый отцеубийца, о котором я уже говорил в своих записках. Третий был Аким Акимыч;²⁷ редко видал я такого чудака, как этот Аким Акимыч. Резко отпечатался он в моей памяти. Был он высок, худошав, слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонер и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним; но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер. Он с первого шагу стал с ними запанибрата, ругался с ними, даже дрался. Честен он был феноменально. Заметит несправедливость и тотчас же ввяжется, хоть бы не его было дело. Наивен до крайности; он, например, бранясь с арестантами, корил их иногда за то, что они были воры, и серьезно убеждал их не воровать. Служил он на Кавказе прапорщиком. Мы сошлись с ним с первого же дня, и он тотчас же рассказал мне свое дело. Начал он на

²⁷ Аким Акимыч ... – Прототипом бывшего прапорщика Акима Акимыча был Ефим Белых, осужденный за «ложное... понятие о патриотизме, показывающее недостаток развития умственных способностей, приведшее к убийству».

Кавказе же с юнкеров, в пехотном полку, долго тянул лямку, наконец был произведен в офицеры и отправлен в какое-то укрепление старшим начальником. Один соседний мирной князек зажег его крепость и сделал на нее ночное нападение; оно не удалось. Аким Акимыч схитрил и не показал даже виду, что знает, кто злоумышленник. Дело свалили на немирных, а через месяц Аким Акимыч зазвал князька к себе по-дружески в гости. Тот приехал, ничего не подозревая. Аким Акимыч выстроил свой отряд; уличал и укорял князька всенародно; доказал ему, что крепости зажигать стыдно. Тут же прочел ему самое подробное наставление, как должно мирному князю вести себя вперед и в заключение расстрелял его, о чем немедленно и донес начальству со всеми подробностями. За все это его судили, приговорили к смертной казни, но смягчили приговор и сослали в Сибирь, в каторгу второго разряда, в крепостях на двенадцать лет. Он вполне сознавал, что поступил неправильно, говорил мне, что знал об этом и перед расстрелянием князька, знал, что мирного должно было судить по законам; но, несмотря на то, что знал это, он как будто никак не мог понять своей вины настоящим образом:

– Да помилуйте! Ведь он зажег мою крепость? Что ж мне, поклониться, что ли, ему за это! – говорил он мне, отвечая на мои возражения.

Но, несмотря на то, что арестанты подсмеивались над придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за аккуратность и умелость.

Не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч. Он был столяр, сапожник, башмачник, маляр, золотильщик, слесарь, и всему этому обучился уже в каторге. Он делал все самоучкой: взглянет раз и сделает. Он делал тоже разные ящики, корзинки, фонарики, детские игрушки и продавал их в городе. Таким образом, у него водились деньжонки, и он немедленно употреблял их на лишнее белье, на подушку помягче, завел складной тюфячок. Помещался он в одной казарме со мною и многим услужил мне в первые дни моей каторги.

Выходя из острога на работу, арестанты строились перед кордегардией в два ряда; спереди и сзади арестантов выстроивались конвойные солдаты с заряженными ружьями. Являлись: инженерный офицер, кондуктор²⁸ и несколько инженерных нижних чинов, приставов над работами. Кондуктор рассчитывал арестантов и посылал их партиями куда нужно на работу.

Вместе с другими я отправился в инженерную мастерскую. Это было низенькое каменное здание, стоявшее на большом дворе, заваленном разными матерьялами. Тут была кузница, слесарня, столярная, малярная и проч. Аким Акимыч ходил сюда и работал в малярной, варил олифу, составлял краски и разделявал столы и мебель под орех.

В ожидании перековки я разговорился с Акимом Акимычем о первых моих впечатлениях в остроге.

– Да-с, дворян они не любят, – заметил он, – особенно политических, съестъ рады; немудрено-с. Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий, а во-вторых, они все прежде были или помещичьи, или из военного звания. Сами посудите, могут ли они вас полюбить-с? Здесь, я вам скажу, жить трудно. А в российских арестантских ротах еще труднее-с. Вот у нас есть оттуда, так не нахвалятся нашим острогом, точно из ада в рай перешли. Не в работе беда-с. Говорят, там, в первом-то разряде, начальство не совершенно военное-с, по крайней мере другим манером, чем у нас, поступает-с. Там, говорят, ссыльный может жить своим домком. Я там не был, да так говорят-с. Не бреют; в мундирах не ходят-с; хотя, впрочем, оно и хорошо, что у нас они в мундирном виде и бритые; все-таки порядку больше, да и глазу приятнее-с. Да только им-то это не нравится. Да и посмотрите, сброд-то какой-с! Иной из кантонистов,²⁹ другой из черкесов, третий из раскольников, четвертый православный мужичок, семью, детей милых оставил на родине, пятый жид, шестой цыган, седьмой неизвестно кто, и все-то они

²⁸ ...кондуктор ... – Кондукторами в военно-инженерных частях назывались унтер-офицеры.

²⁹ ...из кантонистов. – Кантонист – солдатский сын, со дня рождения числившийся за военным ведомством и обучавшийся в низшей военной школе.

должны ужиться вместе во что бы ни стало, согласиться друг с другом, есть из одной чашки, спать на одних нарах. Да и воля-то какая: лишний кусок можно съесть только украдкой, всякий грош в сапоги прятать, и все только и есть, что острог да острог... Поневоле дурь пойдет в голову.

Но это я уж знал. Мне особенно хотелось расспросить о нашем майоре. Аким Акимыч не секретничал, и, помню, впечатление мое было не совсем приятное.

Но еще два года мне суждено было прожить под его начальством. Всё, что рассказал мне о нем Аким Акимыч, оказалось вполне справедливым, с тою разницею, что впечатление действительности всегда сильнее, чем впечатление от простого рассказа. Страшный был это человек именно потому, что такой человек был начальником, почти неограниченным, над двумястами душ. Сам по себе он только был беспорядочный и злой человек, больше ничего. На арестантов он смотрел как на своих естественных врагов, и это была первая и главная ошибка его. Он действительно имел некоторые способности; но все, даже и хорошее, представлялось в нем в таком исковерканном виде. Невоздержный, злой, он врывался в острог даже иногда по ночам, а если замечал, что арестант спит на левом боку или навзничь, то наутро его наказывал: «Спи, дескать, на правом боку, как я приказал». В остроге его ненавидели и боялись, как чумы. Лицо у него было багровое, злобное. Все знали, что он был вполне в руках своего денщика, Федьки. Любил же он больше всего своего пуделя Трезорку и чуть с ума не сошел с горя, когда Трезорка заболел. Говорят, что он рыдал над ним, как над родным сыном; прогнал одного ветеринара и, по своему обыкновению, чуть не подрался с ним и, услышав от Федьки, что в остроге есть арестант, ветеринар-самоучка, который лечил чрезвычайно удачно, немедленно призвал его.

– Выручи! Озолочу тебя, вылечи Трезорку! – закричал он арестанту.

Это был мужик-сибиряк, хитрый, умный, действительно очень ловкий ветеринар, но вполне мужичок.

– Смотрю я на Трезорку, – рассказывал он потом арестантам, впрочем, долго спустя после своего визита к майору, когда уже все дело было забыто, – смотрю: лежат пес на диване, на белой подушке; и ведь вижу, что воспаление, что надоть бы кровь пустить, и вылечился бы пес, ей-ей говорю! да думаю про себя: «А что, как не вылечу, как околеет?» «Нет, говорю, ваше высокоблагородие, поздно позвали; кабы вчера или третьего дня, в это же время, так вылечил бы пса; а теперь не могу, не вылечу...»

Так и умер Трезорка.

Мне рассказывали в подробности, как хотели убить нашего майора. Был в остроге один арестант. Он жил у нас уже несколько лет и отличался своим кротким поведением. Замечали тоже, что он почти ни с кем никогда не говорил. Его так и считали каким-то юродивым. Он был грамотный и весь последний год постоянно читал Библию, читал и днем и ночью. Когда все засыпали, он вставал в полночь, зажигал восковую церковную свечу, взлезал на печку, раскрывал книгу и читал до утра. В один день он пошел и объявил унтер-офицеру, что не хочет идти на работу. Доложили майору; тот вскипел и прискакал немедленно сам. Арестант бросился на него с приготовленным заранее кирпичом, но промахнулся. Его схватили, судили и наказали. Все произошло очень скоро. Через три дня он умер в больнице. Умирая, он говорил, что не имел ни на кого зла, а хотел только пострадать. Он, впрочем, не принадлежал ни к какой раскольничьей секте. В остроге вспоминали о нем с уважением.

Наконец, меня перековали. Между тем в мастерскую явились одна за другою несколько калашниц. Иные были совсем маленькие девочки. До зрелого возраста они ходили обыкновенно с калачами; матери пекли, а они продавали. Войдя в возраст, они продолжали ходить, но уже без калачей; так почти всегда водилось. Были и не девочки. Калач стоил грош, и арестанты почти все их покупали.

Я заметил одного арестанта, столяра, уже седенького, но румяного и с улыбкой заигрывавшего с калашницами. Перед их приходом он только что наverts на шею красненький кумачный платочек. Одна толстая и совершенно рябая бабенка поставила на его верстак свою сельницу. Между ними начался разговор.

– Что ж вы вчера не приходили туда? – заговорил арестант с самодовольной улыбкой.

– Вот! Я пришла, а вас Митькой звали, – отвечала бойкая бабенка.

– Нас потребовали, а то бы мы неизменно находились при месте... А ко мне третьего дня все ваши приходили.

– Кто да кто?

– Марьяшка приходила, Хаврошка приходила, Чекунда приходила, Двугрошова приходила...

– Это что же? – спросил я Акима Акимыча, – неужели?..

– Бывает-с, – отвечал он, скромно опустив глаза, потому что был чрезвычайно целомудренный человек.

Это, конечно, бывало, но очень редко и с величайшими трудностями. Вообще было больше охотников, например, хоть выпить, чем на такое дело, несмотря на всю естественную тягость вынужденной жизни. До женщин было трудно добраться. Надо было выбирать время, место, условливаться, назначать свидания, искать уединения, что было особенно трудно, склонять конвойных, что было еще труднее, и вообще тратить бездну денег, судя относительно. Но все-таки мне удавалось впоследствии, иногда, быть свидетелем и любовных сцен. Помню, однажды летом мы были втроем в каком-то сарае на берегу Иртыша и протапливали какую-то обжигательную печку; конвойные были добрые. Наконец, явились две «суфлеры»,³⁰ как называют их арестанты.

– Ну, что так засиделись? Небось у Зверковых? – встретил их арестант, к которому они пришли, давно уже их ожидавший.

– Я засиделась? Да давеча сорока на коле дольше, чем я у них, посидела, – отвечала весело девица.

Это была наигрязнейшая девица в мире. Она-то и была Чекунда. С ней вместе пришла Двугрошова. Эта уже была вне всякого описания.

– И с вами давно не видались, – продолжал волокита, обращаясь к Двугрошовой, – что это вы словно как похудели?

– А может быть. Прежде-то я куды была толстая, а теперь – вот словно иглу проглотила.

– Все по солдатикам-с?

– Нет, уж это вам про нас злые люди набухвостили;³¹ а впрочем, что ж-с? Хоть без ребрушка ходить, да солдатика любить!³²

– А вы их бросьте, а нас любите; у нас деньги есть...

В довершение картины представьте себе этого волокиту бритого, в кандалах, полосатого и под конвоем.

Я простился с Акимом Акимычем и, узнав, что мне можно воротиться в острог, взял конвойного и пошел домой. Народ уже сходился. Прежде всех возвращаются с работы работающие на уроки. Единственное средство заставить арестанта работать усердно, это – задать ему урок. Иногда уроки задаются огромные, но все-таки они кончаются вдвое скорее, чем если бы заставили работать вплоть до обеденного барабана. Окончив урок, арестант беспрепятственно шел домой, и уже никто его не останавливал.

³⁰ ...две «суфлеры» ... – Суфлеры – принятое среди арестантов название женщин легкого поведения.

³¹ *Набухвостили* – нагали, насплетничали.

³² *Хоть без ребрушка ходить, да солдатика любить!* – Двустипшие из народной плясовой песни.

Обедают не вместе, а как попало, кто раньше пришел; да и кухня не вместила бы всех разом. Я попробовал щей, но с непривычки не мог их есть и заварил себе чаю. Мы уселись на конце стола. Со мной был один товарищ, так же, как и я, из дворян.³³

Арестанты приходили и уходили. Было, впрочем, просторно, еще не все собрались. Кучка в пять человек уселась особо за большим столом. Кашевар налил им в две чашки щей и поставил на стол целую латку с жареной рыбой. Они что-то праздновали и ели свое. На нас они поглядели искоса. Вошел один поляк и сел рядом с нами.

– Дома не был, а всё знаю! – громко закричал один высокий арестант, входя в кухню и взглядом окидывая всех присутствующих.

Он был лет пятидесяти, мускулист и сухощав. В лице его было что-то лукавое и вместе веселое. В особенности замечательна была его толстая, нижняя, отвисшая губа; она придавала его лицу что-то чрезвычайно комическое.

– Ну, здорово ночевали! Что ж не здороваетесь? Нашим курским! – прибавил он, усаживаясь подле обедавших свое кушанье, – хлеб да соль! Встречайте гостя.

– Да мы, брат, не курские.

– Аль тамбовским?

– Да и не тамбовские. С нас, брат, тебе нечего взять. Ты ступай к богатому мужику, там проси.

– В брюхе-то у меня, братцы, сегодня Иван-Таскун да Марья-Икотишна;³⁴ а где он, богатый мужик, живет?

– Да вон Газин богатый мужик; к нему и ступай.

– Кутит, братцы, сегодня Газин, запил; весь кошель пропивает.

– Целковых двадцать есть, – заметил другой. – Выгодно, братцы, целовальником быть.

– Что ж, не примете гостя? Ну, так похлебаем и казенного.

– Да ты ступай проси чаю. Вон бары пьют.

– Какие бары, тут нет бар; такие же, как и мы теперь, – мрачно промолвил один, сидевший в углу арестант. До сих пор он не проговорил слова.

– Напился бы чаю, да просить совестно: мы с амбицией, – заметил арестант с толстой губой, добродушно смотря на нас.

– Если хотите, я вам дам, – сказал я, приглашая арестанта, – угодно?

– Угодно? Да уж как не угодно! – Он подошел к столу.

– Ишь, дома лаптем щи хлебал, а здесь чай узнал; господского питья захотелось, – проговорил мрачный арестант.

– А разве здесь никто не пьет чай? – спросил я его, но он не удостоил меня ответом.

– Вот и калачи несут. Уж удостойте и калачика!

Внесли калачи. Молодой арестант нес целую связку и распродал ее по острогу. Калашница уступала ему десятый калач; на этот-то калач он и рассчитывал.

– Калачи, калачи! – кричал он, входя в кухню, – московские, горячие! Сам бы ел, да денег надо. Ну, ребята, последний калач остался: у кого мать была?

Это воззвание к материнской любви рассмешило всех, и у него взяли несколько калачей.

– А что, братцы, – проговорил он, – ведь Газин-то сегодня догуляется до греха! Ей-богу! Когда гулять вздумал. Неравно осмиглазый приедет.

– Спрячут. А что, крепко пьян?

– Куды! Злой, пристаёт.

– Ну, так догуляется до кулаков...

³³ Со мной был один товарищ, так же, как и я, из дворян. – Это был сосланный вместе с Достоевским в Омск на четыре года поэт-петрашевец С. Ф. Дуров (1816–1869).

³⁴ В брюхе-то у меня, братцы, сегодня Иван-Таскун да Марья-Икотишна ... – Этнограф С. Максимов писал, что так называли в арестантской среде болезни, зависящие от дурной и преимущественно сухой, «без приварка», пищи.

– Про кого они говорят? – спросил я поляка, сидевшего рядом со мною.

– Это Газин, арестант. Он торгует здесь вином. Когда наторгует денег, то тотчас же их пропивает. Он жесток и зол; впрочем, трезвый смирен; когда же напьется, то весь наружу; на людей с ножом кидается. Тут уж его унимают.

– Как же унимают?

– На него бросаются человек десять арестантов и начинают ужасно бить, до тех пор, пока он не лишится всех чувств, то есть бьют до полусмерти. Тогда укладывают его на нары и накрывают полушубком.

– Да ведь они могут его убить?

– Другого бы убили, но его нет. Он ужасно силен, сильнее здесь всех в остроге и самого крепкого сложения. На другое же утро он встает совершенно здоровый.

– Скажите, пожалуйста, – продолжал я расспрашивать поляка, – ведь вот они тоже едят свое кушанье, а я пью чай. А между тем они смотрят, как будто завидуют за этот чай. Что это значит?

– Это не за чай, – отвечал поляк. – Они злятся на вас за то, что вы дворянин и на них не похожи. Многие из них желали бы к вам придаться. Им бы очень хотелось вас оскорбить, унижить. Вы еще много увидите здесь неприятностей. Здесь ужасно тяжело для всех нас. Нам всех тяжелее во всех отношениях. Нужно много равнодушия, чтоб к этому привыкнуть. Вы еще не раз встретите неприятности и брань за чай и за особую пищу, несмотря на то, что здесь очень многие и очень часто едят свое, а некоторые постоянно пьют чай. Им можно, а вам нельзя.

Проговорив это, он встал и ушел из-за стола. Через несколько минут сбылись и слова его...

III. Первые впечатления

Только что ушел М-цкий³⁵ (тот поляк, который говорил со мною), Газин, совершенно пьяный, ввалился в кухню.

Пьяный арестант, среди бела дня, в будний день, когда все обязаны были выходить на работу, при строгом начальнике, который каждую минуту мог приехать в острог, при унтер-офицере, заведующем каторжными и находящемся в остроге безотлучно; при караульных, при инвалидах – одним словом, при всех этих строгостях совершенно спутывал все зарождавшиеся во мне понятия об арестантском житье-бытье. И довольно долго пришлось мне прожить в остроге, прежде чем я разяснил себе все такие факты, столь загадочные для меня в первые дни моей каторги.

Я говорил уже, что у арестантов всегда была собственная работа и что эта работа – естественная потребность каторжной жизни; что, кроме этой потребности, арестант страстно любит деньги и ценит их выше всего, почти наравне с свободой, и что он уже утешен, если они звенят у него в кармане. Напротив, он уныл, грустен, беспокоен и падает духом, если их нет, и тогда он готов и на воровство и на что попало, только бы их добыть. Но, несмотря на то, что в остроге деньги были такою драгоценностью, они никогда не залеживались у счастливого, их имеющего. Во-первых, трудно было их сохранить, чтоб не украли или не отобрали. Если майор добирался до них, при внезапных обысках, то немедленно отбирал. Может быть, он употреблял их на улучшение арестантской пищи; по крайней мере они приносились к нему. Но всего чаще их крали: ни на кого нельзя было положиться. Впоследствии у нас открыли способ сохранять деньги с полною безопасностью. Они отдавались на хранение старику-староверу, поступившему к нам из стародубовских слобод, бывших когда-то Ветковцев...³⁶ Но не могу утерпеть, чтоб не сказать о нем несколько слов, хотя и отвлекаюсь от предмета.

Это был старичок лет шестидесяти, маленький, седенький. Он резко поразил меня с первого взгляда. Он так не похож был на других арестантов: что-то до того спокойное и тихое было в его взгляде, что, помню, я с каким-то особенным удовольствием смотрел на его ясные, светлые глаза, окруженные мелкими лучистыми морщинками. Часто говорил я с ним и редко встречал такое доброе, благодушное существо в моей жизни. Прислали его за чрезвычайно важное преступление. Между стародубовскими старообрядцами стали появляться обращения. Правительство сильно поощряло их и стало употреблять все усилия для дальнейшего обращения и других несогласных. Старик вместе с другими фанатиками решился «стоять за веру», как он выражался. Началась строиться единоверческая церковь,³⁷ и они сожгли ее. Как один из зачинщиков старик сослан был в каторжную работу. Был он зажиточный, торгующий мещанин; дома оставил жену, детей; но с твердостью пошел в ссылку, потому что в ослеплении своем считал ее «мукою за веру». Прожив с ним некоторое время, вы бы невольно задали себе вопрос: как мог этот смиренный, кроткий, как дитя, человек, быть бунтовщиком? Я несколько раз заговаривал с ним «о вере». Он не уступал ничего из своих убеждений; но никогда никакой злобы, никакой ненависти не было в его возражениях. А между тем он разорил церковь и не запирался в этом. Казалось, что, по своим убеждениям, свой поступок и принятые за него «муки» он должен бы был считать славным делом. Но как ни всматривался я, как ни изучал его, никогда никакого признака тщеславия или гордости не замечал я в нем. Были у нас в остроге и другие старообрядцы, большею частью сибиряки. Это был сильно развитой народ, хитрые

³⁵ ...М-цкий – Александр Мирецкий (род. в 1820 г.), прибыл на каторгу в 1846 г. «за участие в заговоре».

³⁶ ...из стародубовских слобод, бывших когда-то Ветковцев ... – Местечко Стародубье в Черниговской губернии и остров Ветка на реке Сож были центрами старообрядчества.

³⁷ ...единоверческая церковь ... – Единоверцами называли старообрядцев, объединившихся с Православной церковью и подчинившихся Синоду.

мужики, чрезвычайные начетчики³⁸ и буквоеды и по-своему сильные диалектики; народ надменный, заносчивый, лукавый и нетерпимый в высочайшей степени. Совсем другой человек был старик. Начетчик, может быть, больше их, он уклонялся от споров. Характера был в высшей степени сообщительного. Он был весел, часто смеялся – не тем грубым, циничным смехом, каким смеялись каторжные, а ясным, тихим смехом, в котором много было детского простодушия и который как-то особенно шел к сединам. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека,³⁹ и если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек хороший. Во всем остроге старик приобрел всеобщее уважение, которым несколько не тщеславился. Арестанты называли его дедушкой и никогда не обижали его. Я отчасти понял, какое мог он иметь влияние на своих единоверцев. Но, несмотря на видимую твердость, с которой он переживал свою каторгу, в нем таилась глубокая, неизлечимая грусть, которую он старался скрывать от всех. Я жил с ним в одной казарме. Однажды, часу в третьем ночи, я проснулся и услышал тихий, сдержанный плач. Старик сидел на печи (той самой, на которой прежде него по ночам молился зачитавшийся арестант, хотевший убить майора) и молился по своей рукописной книге. Он плакал, и я слышал, как он говорил по временам: «Господи, не оставь меня! Господи, укрепи меня! Детушки мои малые, детушки мои милые, никогда-то нам не свидаться!» Не могу рассказать, как мне стало грустно. Вот этому-то старику мало-помалу почти все арестанты начали отдавать свои деньги на хранение. В каторге почти все были воры, но вдруг все почему-то уверились, что старик никак не может украсть. Знали, что он куда-то прятал врученные ему деньги, но в такое потаенное место, что никому нельзя было их отыскать. Впоследствии мне и некоторым из поляков он объяснил свою тайну. В одной из палей был сучок, по-видимому твердо сросшийся с деревом. Но он вынимался, и в дереве оказалось большое углубление. Туда-то дедушка прятал деньги и потом опять вкладывал сучок, так что никто никогда не мог ничего отыскать.

Но я отклонился от рассказа. Я остановился на том: почему в кармане у арестанта не залеживались деньги. Но, кроме труда уберечь их, в остроге было столько тоски; арестант же, по природе своей, существо до того жаждущее свободы и, наконец, по социальному своему положению, до того легкомысленное и беспорядочное, что его, естественно, влечет вдруг «развернуться на все», закутить на весь капитал, с громом и с музыкой, так, чтоб забыть, хоть на минуту, тоску свою. Даже странно было смотреть, как иной из них работает, не разгибая шеи, иногда по несколько месяцев, единственно для того, чтоб в один день спустить весь заработок, все дочиста, а потом опять, до нового кутежа, несколько месяцев корпеть за работой. Многие из них любили заводить себе обновки, и непременно партикулярного свойства: какие-нибудь неформенные, черные штаны, поддевки, сибирки.⁴⁰ В большом употреблении были тоже ситцевые рубашки и пояса с медными бляхами. Рядились в праздники, и разрядившийся непременно, бывало, пройдет по всем казармам показать себя всему свету. Довольство хорошего одетого доходило до ребячества, да и во многом арестанты были совершенные дети. Правда, все эти хорошие вещи как-то вдруг исчезали от хозяина, иногда в тот же вечер закладывались и спускались за бесценок. Впрочем, кутеж развертывался постепенно. Пригонялся он обыкновенно или к праздничным дням, или к дням имени кутившего. Арестант-именинник, вставая поутру, ставил к образу свечку и молился; потом наряжался и заказывал себе обед. Покупалась говядина, рыба, делались сибирские пельмени; он наедался, как вол, почти всегда один, редко приглашая товарищей разделить свою трапезу. Потом появлялось и вино: именинник напивался как стелька и непременно ходил по казармам, покачиваясь и спотыкаясь, стараясь показать всем, что он пьян, что он «гуляет», и тем заслужить всеобщее уважение. Везде в

³⁸ *Начетчик* – знаток и толкователь богословских книг.

³⁹ ...по смеху можно узнать человека ... – Эта мысль развита Достоевским в романе «Подросток» (ч. III, гл. 1).

⁴⁰ *Сибирка* – верхняя одежда в виде короткого кафтана.

русском народе к пьяному чувствуется некоторая симпатия; в остроге же к загулявшему даже делались почтительны. В острожной гульбе был своего рода аристократизм. Развеселившись, арестант непременно нанимал музыку. Был в остроге один полячок из беглых солдат, очень гаденький, но игравший на скрипке и имевший при себе инструмент – все свое достояние. Ремесла он не имел никакого и тем только и промышлял, что нанимался к гуляющим играть веселые танцы. Должность его состояла в том, чтоб безотлучно следовать за своим пьяным хозяином из казармы в казарму и пилить на скрипке изо всей мочи. Часто на лице его являлась скука, тоска. Но окрик: «Играй, деньги взял» – заставлял его снова пилить и пилить. Арестант, начиная гулять, мог быть твердо уверен, что если он уж очень напьется, то за ним непременно присмотрят, вовремя уложат спать и всегда куда-нибудь спрячут при появлении начальства, и все это совершенно бескорыстно. С своей стороны, унтер-офицер и инвалиды, жившие для порядка в остроге, могли быть тоже совершенно спокойны: пьяный не мог произвести никакого беспорядка. За ним смотрела вся казарма, и если б он зашумел, забунтовал – его бы тотчас же усмирили, даже просто связали бы. А потому низшее острожное начальство смотрело на пьянство сквозь пальцы, да и не хотело замечать. Оно очень хорошо знало, что не позволю вина, так будет и хуже. Но откуда же доставалось вино?

Вино покупалось в остроге же у так называемых целовальников. Их было несколько человек, и торговлю свою они вели непрерывно и успешно, несмотря на то, что пьющих и «гуляющих» было вообще немного, потому что гульба требовала денег, а арестантские деньги добывались трудно. Торговля начиналась, шла и разрешалась довольно оригинальным образом. Иной арестант, положим, не имеет ремесла и не желает трудиться (такие бывали), но хочет иметь деньги и притом человек нетерпеливый, хочет скоро нажиться. У него есть несколько денег для начала, и он решается торговать вином: предприятие смелое, требующее большого риска. Можно было за него поплатиться спиной и разом лишиться товара и капитала. Но целовальник на то идет. Денег у него сначала немного, и потому в первый раз он сам проносит в острог вино и, разумеется, сбывает его выгодным образом. Он повторяет опыт второй и третий раз, и если не попадаетея начальству, то быстро расторгивается и только тогда основывает настоящую торговлю на широких основаниях: делается антрепренером, капиталистом, держит агентов и помощников, рискует гораздо меньше, а наживается все больше и больше. Рискуют за него помощники.

В остроге всегда бывает много народу промотавшегося, проигравшегося, прогулявшего все до копейки, народу без ремесла, жалкого и оборванного, но одаренного до известной степени смелостью и решимостью. У таких людей остается, в виде капитала, в целости одна только спина; она может еще служить к чему-нибудь, и вот этот-то последний капитал промотавшийся гуляка и решается пустить в оборот. Он идет к антрепренеру и нанимается к нему для проноски в острог вина; у богатого целовальника таких работников несколько. Где-нибудь вне острога существует такой человек – из солдат, из мещан, иногда даже девка, – который на деньги антрепренера и за известную премию, сравнительно очень немалую, покупает в кабаке вино и скрывает его где-нибудь в укромном местечке, куда арестанты приходят на работу. Почти всегда поставщик первоначально испробывает доброту водки и отпитое – бесчеловечно добавляет водой; бери не бери, да арестанту и нельзя быть слишком разборчивым: и то хорошо, что еще не совсем пропали его деньги и доставлена водка хоть какая-нибудь, да все-таки водка. К этому-то поставщику и являются указанные ему наперед от острожного целовальника проносители, с бычачьими кишками. Эти кишки сперва промываются, потом наливаются водой и, таким образом, сохраняются в первоначальной влажности и растяжимости, чтобы со временем быть удобными к восприятию водки. Налив кишки водкой, арестант обвязывает их кругом себя, по возможности в самых скрытных местах своего тела. Разумеется, при этом выказывается вся ловкость, вся воровская хитрость контрабандиста. Его честь отчасти затронута; ему надо надуть и конвойных и караульных. Он их надует: у хорошего вора конвойный, иногда какой-

нибудь рекрутик, всегда прозевает. Разумеется, конвойный изучается предварительно; к тому же принимается в соображение время, место работы. Арестант, например печник, полезет на печь: кто увидит, что он там делает? Не лезть же за ним и конвойному. Подходя к острогу, он берет в руки монетку – пятнадцать или двадцать копеек серебром, на всякий случай, и ждет у ворот ефрейтора. Всякого арестанта, возвращающегося с работы, караульный ефрейтор осматривает кругом и ощупывает и потом уже отпирает ему двери острога. Проноситель вина обыкновенно надеется, что посоветятся слишком подробно его ощупывать в некоторых местах. Но иногда пролаз-ефрейтор добирается и до этих мест и нащупывает вино. Тогда остается одно последнее средство: контрабандист молча и скрытно от конвойного сует в руки ефрейтора затаенную в руке монетку. Случается, что вследствие такого маневра он проходит в острог благополучно и проносит вино. Но иногда маневр не удается, и тогда приходится рассчитаться своим последним капиталом, то есть спиной. Докладывают майору, капитал секут, и секут больно, вино отбирается в казну, и контрабандист принимает все на себя, не выдавая антрепренера, но, заметим себе, не потому, чтоб гнушался доноса, а единственно потому, что донос для него невыгоден: его бы все-таки высекли; всё утешение было бы в том, что их бы высекли обоих. Но антрепренер ему еще нужен, хотя, по обычаю и по предварительному договору, за высеченную спину контрабандист не получает с антрепренера ни копейки. Что же касается вообще доносов, то они обыкновенно процветают. В остроге доносчик не подвергается ни малейшему унижению; негодование к нему даже немыслимо. Его не чуждаются, с ним водят дружбу, так что если б вы стали в остроге доказывать всю гадость доноса, то вас бы совершенно не поняли. Тот арестант из дворян, развратный и подлый, с которым я прервал все сношения, водил дружбу с майорским денщиком Федькой и служил у него шпионом, а тот передавал все услышанное им об арестантах майору. У нас все это знали, и никто никогда даже и не вздумал наказать или хоть укорить негодяя.

Но я отклонился в сторону. Разумеется, бывает, что вино проносится и благополучно; тогда антрепренер принимает принесенные кишки, заплатив за них деньги, и начинает рассчитывать. По расчету оказывается, что товар стоит уже ему очень дорого; а потому, для больших барышей, он переливает его еще раз, сызнова разбавляя еще раз водой, чуть не наполовину, и, таким образом приготовившись совершенно, ждет покупателя. В первый же праздник, а иногда в будни, покупатель является: это арестант, работавший несколько месяцев, как кордонный вол, и скопивший копейку, чтобы пропить всё в заранее определенный для того день. Этот день еще задолго до своего появления снился бедному труженику и во сне, и в счастливых мечтах за работой и обаянием своим поддерживал его дух на скучном поприще острожной жизни. Наконец, заря светлого дня появляется на востоке; деньги скоплены; не отобраны, не украдены, и он их несет целовальнику. Тот подает ему сначала вино, по возможности чистое, то есть всего только два раза разбавленное; но по мере отпивания из бутылки все отпитое немедленно добавляется водой. За чашку вина платится впятеро, вшестеро больше, чем в кабаке. Можно представить себе, сколько нужно выпить таких чашек и сколько заплатить за них денег, чтоб напиться! Но по отвычке от питья и от предварительного воздержания арестант хмелеет довольно скоро и обыкновенно продолжает пить до тех пор, пока не пропьет все свои деньги. Тогда идут в ход все обновки: целовальник в то же время и ростовщик. Сперва поступают к нему новозаведенные партикулярные вещи, потом доходит и до старого хлама, а наконец, и до казенных вещей. С пропитием всего, до последней тряпки, пьяница ложится спать и на другой день, проснувшись с неминуемой трескотней в голове, тщетно просит у целовальника хоть глоток вина на похмелье. Грустно переносит он невзгону, и в тот же день принимается опять за работу, и опять несколько месяцев работает, не разгибая шеи, мечтая о счастливом кутежном дне, безвозвратно канувшем в вечность, и мало-помалу начиная ободряться и поджидать другого такого же дня, который еще далеко, но который все-таки придет же когда-нибудь в свою очередь.

Что же касается целовальника, то, наторговав, наконец, огромную сумму, несколько десятков рублей, он заготавливает последний раз вино и уже не разбавляет его водой, потому что назначает его для себя; довольно торговать: пора и самому попраздновать! Начинается кутеж, питье, еда, музыка. Средства большие; задобривается даже и ближайшее, низшее острожное начальство. Кутеж иногда продолжается по несколько дней. Разумеется, заготовленное вино скоро пропивается; тогда гуляка идет к другим целовальникам, которые уже поджидают его, и пьет до тех пор, пока не пропивает всего до копейки. Как ни оберегают арестанты гуляющего, но иногда он попадает на глаза высшему начальству, майору или караульному офицеру. Его берут в кордегардию, обдирают его капиталы, если найдут их на нем, и в заключение секут. Встряхнувшись, он приходит обратно в острог и чрез несколько дней снова принимается за ремесло целовальника. Иные из гуляк, разумеется богатенькие, мечтают и о прекрасном поле. За большие деньги они пробираются иногда, тайком, вместо работы, куда-нибудь из крепости на форштадт, в сопровождении подкупленного конвойного. Там, в каком-нибудь укромном домике, где-нибудь на самом краю города, задается пир на весь мир и ухлопываются действительно большие суммы. За деньги и арестантом не брезгают; конвойный же подбирается как-нибудь заранее, с знанием дела. Обыкновенно такие конвойные сами – будущие кандидаты в острог. Впрочем, за деньги все можно сделать, и такие путешествия остаются почти всегда в тайне. Надо прибавить, что они весьма редко случаются; на это надо много денег, и любители прекрасного пола прибегают к другим средствам, совершенно безопасным.

Еще с первых дней моего острожного житья один молодой арестант, чрезвычайно хорошенький мальчик, возбудил во мне особенное любопытство. Звали его Сироткин. Был он довольно загадочное существо во многих отношениях. Прежде всего меня поразило его прекрасное лицо; ему было не более двадцати трех лет от роду. Находился он в особом отделении, то есть в бессрочном, следственно считался одним из самых важных военных преступников. Тихий и кроткий, он говорил мало, редко смеялся. Глаза у него были голубые, черты правильные, личико чистенькое, нежное, волосы светло-русые. Даже полуобритая голова его безобразила: такой он был хорошенький мальчик. Ремесла он не имел никакого, но деньги добывал хоть понемногу, но часто. Был он приметно ленив, ходил неряхой. Разве кто другой оденет его хорошо, иногда даже в красную рубашку, и Сироткин, видимо, рад обновке: ходит по казармам, себя показывает. Он не пил, в карты не играл, почти ни с кем не ссорился. Ходит, бывало, за казармами – руки в карманах, смирный, задумчивый. О чем он мог думать, трудно было себе и представить. Окликнешь иногда его, из любопытства, спросишь о чем-нибудь, он тотчас же ответит и даже как-то почтительно, не по-арестантски, но всегда коротко, неразборчиво; глядит же на вас, как десятилетний ребенок. Заведутся у него деньги, – он не купит себе чего-нибудь необходимого, не отдаст починить куртку, не заведет новых сапогов, а купит калачика, пряничка и скушает, – точно ему семь лет от роду. «Эх ты, Сироткин! – говорят, бывало, ему арестанты, – сирота ты казанская!» В нерабочее время он обыкновенно скитается по чужим казармам; все почти заняты своим делом, одному ему нечего делать. Скажут ему что-нибудь, почти всегда в насмешку (над ним и его товарищами таки часто посмеивались), – он, не сказав ни слова, поворотится и идет в другую казарму; а иногда, если уж очень просмеют его, покраснеет. Часто я думал, за что это смирное, простодушное существо явилось в острог? Раз я лежал в больнице в арестантской палате. Сироткин был также болен и лежал подле меня; как-то под вечер мы с ним разговорились; он невзначай одушевился и, к слову, рассказал мне, как его отдавали в солдаты, как, провожая его, плакала над ним его мать и как тяжело ему было в рекрутах. Он прибавил, что никак не мог вытерпеть рекрутской жизни, потому что там все были такие сердитые, строгие, а командиры всегда почти были им недовольны...

– Как же кончилось? – спросил я. – За что ж ты сюда-то попал? Да еще в особое отделение... Ах ты, Сироткин, Сироткин!

– Да я-с, Александр Петрович, всего год пробыл в батальоне; а сюда пришел за то, что Григория Петровича, моего ротного командира, убил.

– Слышал я это, Сироткин, да не верю. Ну, кого ты мог убить?

– Так случилось, Александр Петрович. Уж очень мне тяжело стало.

– Да как же другие-то рекруты живут? Конечно, тяжело сначала, а потом привыкают, и, смотришь, выходит славный солдат. Тебя, должно быть, мать забаловала; пряничками да молочком до восемнадцати лет кормила.

– Матушка-то меня, правда, очень любила-с. Когда я в некруты пошел, она после меня слегла, да, слышно, и не вставала... Горько мне уж очень под конец по некрутству стало. Командир невзлюбил, за всё наказывает, – а и за что-с? Я всем покоряюсь, живу в аккурат; винишка не пью, ничем не займаюсь; а уж это, Александр Петрович, плохое дело, коли чем занимается человек. Все кругом такие жестокосердые – всплакнуть негде. Бывало, пойдешь куда за угол, да там и поплачешь. Вот и стою я раз в карауле. Уж ночь; поставили меня на часы, на абвахте, у сошек.⁴¹ Ветер, осень была, а темень такая, что хоть глаз раздери. И так тошно, тошно мне стало! Взял я к ноге ружье, штык отомкнул, положил подле; скинул правый сапог, дуло наставил себе в грудь, налег на него и большим пальцем ноги спустил курок. Смотрю – осечка! Я ружье осмотрел, прочистил затравку, порошу нового подсыпал, кремешок пообил и опять к груди приставил. Что же-с? порох вспыхнул, а выстрела опять нет! Что ж это, думаю? Взял я, надел сапог, штык примкнул, молчу и расхаживаю. Тут-то я и положил это дело сделать: хоть куда хошь, только вон из некрутства! Через полчаса едет командир; главным рундом правил.⁴² Прямо на меня: «Разве так стоят в карауле?» Я взял ружье на руку, да и всадил в него штык по самое дуло. Четыре тысячи прошел, да и сюда, в особое отделение...

Он не лгал. Да и за что же его прислали бы в особое отделение? Обыкновенные преступления наказываются гораздо легче. Впрочем, только один Сироткин и был из всех своих товарищей такой красавчик. Что же касается других, подобных ему, которых было у нас всех человек до пятнадцати, то даже странно было смотреть на них; только два-три лица были еще сносны; остальные же все такие вислоухие, безобразные, неряхи; иные даже седые. Если позволят обстоятельства, я скажу когда-нибудь о всей этой кучке подробнее. Сироткин же часто был дружен с Газиным, тем самым, по поводу которого я начал эту главу, упомянув, что он пьяный ввалился в кухню и что это спутало мои первоначальные понятия об осторожной жизни.

Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его. Я видел в Тобольске знаменитого своими злодеяниями разбойника Каменева;⁴³ видел потом Соколова, подсудимого арестанта, из беглых солдат, страшного убийцу. Но ни один из них не производил на меня такого отвратительного впечатления, как Газин.⁴⁴ Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною. Он был татарин; ужасно силен, сильнее всех в остроге; росту выше среднего, сложения геркулесовского, с безобразной, непропорционально огромной головой; ходил сутуловато, смотрел исподлобья. В остроге носились об нем странные слухи: знали, что он был из военных; но арестанты толковали меж собой, не знаю, правда ли, что он беглый из Нерчинска; в Сибирь сослан был уже не раз, бегал не раз, переменял имя и наконец-то попал в наш острог, в особое отделение. Рассказывали тоже про него, что он любил прежде резать маленьких детей, единственно из

⁴¹ ...на абвахте, у сошек. – Абвахта – гауптвахта (нем. Hauptwache), караульное помещение; сошки – стойки, служащие подставками для ружей в караульных помещениях.

⁴² ...рундом правил ... – проверял караулы.

⁴³ ...разбойника Каменева ... – На с. 71 он назван Корневым. Фамилию эту носил преступник, сидевший на цепи в Тобольском остроге в 1850 г.; Достоевский мог его видеть, когда провел там несколько дней по дороге в Омскую крепость.

⁴⁴ ...ни один из них не производил на меня такого отвратительного впечатления, как Газин. – Фейдулла Газин, 37 лет, служил в Сибирском линейном батальоне и осужден был на 6 лет «за частовременные отлучки из казармы, пьянство и кражи».

удовольствия: заведет ребенка куда-нибудь в удобное место; сначала напугает его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением. Всё это, может быть, и выдумывали, вследствие общего тяжелого впечатления, которое производил собою на всех Газин, но все эти выдумки как-то шли к нему, были к лицу. А между тем в остроге он вел себя, не пьяный, в обыкновенное время, очень благоразумно. Был всегда тих, ни с кем никогда не ссорился и избегал ссор, но как будто от презрения к другим, как будто считая себя выше всех остальных; говорил очень мало и был как-то преднамеренно несообщителен. Все движения его были медленные, спокойные, самоуверенные. По глазам его было видно, что он очень неглуп и чрезвычайно хитер; но что-то высокомерно-насмешливое и жестокое было всегда в лице его и в улыбке. Он торговал вином и был в остроге одним из самых зажиточных целовальников. Но в год два ему приходилось напиваться самому пьяным, и вот тут-то высказывалось все зверство его натуры. Хмелея постепенно, он сначала начинал задирать людей насмешками, самыми злыми, рассчитанными и как будто давно заготовленными; наконец, охмелев совершенно, он приходил в страшную ярость, схватывал нож и бросался на людей. Арестанты, зная его ужасную силу, разбежались от него и прятались; он бросался на всякого встречного. Но скоро нашли способ справляться с ним. Человек десять из его казармы бросались вдруг на него все разом и начинали бить. Невозможно представить себе ничего жесточе этого битья: его били в грудь, под сердце, под ложечку, в живот; били много и долго и переставали только тогда, когда он терял все свои чувства и становился как мертвый. Другого бы не решились так бить: так бить – значило убить, но только не Газина. После битья его, совершенно бесчувственного, завертывали в полушубок и относили на нары. «Отлежится, мол!» И действительно, наутро он вставал почти здоровый и молча и угрюмо выходил на работу. И каждый раз, когда Газин напивался пьян, в остроге все уже знали, что день кончится для него непременно побоями. Да и сам он знал это и все-таки напивался. Так шло несколько лет. Наконец, заметили, что и Газин начинает поддаваться. Он стал жаловаться на разные боли, стал заметно хиреть; все чаще и чаще ходил в госпиталь... «Поддался-таки!» – говорили про себя арестанты.

Он вошел в кухню в сопровождении того гаденького полячка со скрипкой, которого обыкновенно нанимали гулявшие для полноты своего увеселения, и остановился посреди кухни, молча и внимательно оглядывая всех присутствующих. Все замолчали. Наконец, увидя тогда меня и моего товарища, он злобно и насмешливо посмотрел на нас, самодовольно улыбнулся, что-то как будто сообразил про себя и, сильно покачиваясь, подошел к нашему столу.

– А позвольте спросить, – начал он (он говорил по-русски), – вы из каких доходов изво-лите здесь чай распивать?

Я молча переглянулся с моим товарищем, понимая, что всего лучше молчать и не отвечать ему. С первого противоречия он пришел бы в ярость.

– Стало быть, у вас деньги есть? – продолжал он допрашивать. – Стало быть, у вас денег куча, а? А разве вы затем в каторгу пришли, чтоб чай распивать? Вы чай распивать пришли? Да говорите же, чтоб вас!..

Но видя, что мы решились молчать и не замечать его, он побагровел и задрожал от бешенства. Подле него, в углу, стояла большая сельница,⁴⁵ в которую складывался весь нарезанный хлеб, приготовляемый для обеда или ужина арестантов. Она была так велика, что в ней помещалось хлеба для половины острога; теперь же стояла пустая. Он схватил ее обеими руками и взмахнул над нами. Еще немного, и он бы раздробил нам головы. Несмотря на то, что убийство или намерение убить грозило чрезвычайными неприятностями всему острогу: начались бы розыски, обыски, усиление строгостей, а потому арестанты всеми силами старались не доводить себя до подобных общих крайностей, – несмотря на это, теперь все притихли и выжидали.

⁴⁵ Сельница – лоток.

Ни одного слова в защиту нас! Ни одного крика на Газина! – до такой степени была сильна в них ненависть к нам! Им, видимо, приятно было наше опасное положение... Но дело кончилось благополучно: только что он хотел опустить сельницу, кто-то крикнул из сеней:

– Газин! Вино украли!..

Он грохнул сельницу на пол и, как сумасшедший, бросился из кухни.

– Ну, бог спас! – говорили меж собой арестанты. И долго потом они говорили это.

Я не мог узнать потом, было ли это известие о покраже вина справедливое или кстати придуманное, нам во спасение.

Вечером, уже в темноте, перед запором казарм, я ходил около паль, и тяжелая грусть пала мне на душу, и никогда после я не испытывал такой грусти во всю мою острожную жизнь. Тяжело переносить первый день заточения, где бы то ни было: в остроге ли, в каземате ли, в каторге ли... Но, помню, более всего занимала меня одна мысль, которая потом неотвязчиво преследовала меня во все время моей жизни в остроге, – мысль отчасти неразрешимая, неразрешимая для меня и теперь: это о неравенстве наказания за одни и те же преступления. Правда, и преступление нельзя сравнить одно с другим, даже приблизительно. Например: и тот и другой убили человека; взвешены все обстоятельства обоих дел; и по тому и по другому делу выходит почти одно наказание. А между тем посмотрите, какая разница в преступлениях. Один, например, зарезал человека так, за ничто, за луковицу: вышел на дорогу, зарезал мужика проезжего, а у него-то и всего одна луковица. «Что ж, батька! Ты меня посылаешь на добычу: вон я мужика зарезал и всего-то луковицу нашел». – «Дурак! Луковица – ан копейка! Сто душ – сто луковиц, вот те и рубль!» (острожная легенда). А другой убил, защищая от сладострастного тирана честь невесты, сестры, дочери. Один убил по бродяжничеству, осаждаемый целым полком сыщиков, защищая свою свободу, жизнь, нередко умирая от голодной смерти; а другой режет маленьких детей из удовольствия резать, чувствовать на своих руках их теплую кровь, насладиться их страхом, их последним голубиным трепетом под самым ножом. И что же? И тот и другой поступают в ту же каторгу. Правда, есть вариация в сроках присуждаемых наказаний. Но вариаций этих сравнительно немного; а вариаций в одном и том же роде преступлений – бесчисленное множество. Что характер, то и вариация. Но положим, что примирить, сгладить эту разницу невозможно, что это своего рода неразрешимая задача – квадратура круга, положим так! Но если б даже это неравенство и не существовало, – посмотрите на другую разницу, на разницу в самых последствиях наказания... Вот человек, который в каторге чахнет, тает, как свечка; и вот другой, который до поступления в каторгу и не знал даже, что есть на свете такая развеселая жизнь, такой приятный клуб разудалых товарищей. Да, приходят в острог и такие. Вот, например, человек образованный, с развитой совестью, с сознанием, сердцем. Одна боль собственного его сердца, прежде всяких наказаний, убьет его своими муками. Он сам себя осудит за свое преступление беспощаднее, безжалостнее самого грозного закона. А вот рядом с ним другой, который даже и не подумает ни разу о совершенном им убийстве, во всю каторгу. Он даже считает себя правым. А бывают и такие, которые нарочно делают преступления, чтоб только попасть в каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле. Там он жил в последней степени унижения, никогда не наедался досыта и работал на своего антрепренера с утра до ночи; а в каторге работа легче, чем дома, хлеба вдоволь и такого, какого он еще и не видывал; по праздникам говядина, есть подаяние, есть возможность заработать копейку. А общество? Народ продувной, ловкий, всезнающий; и вот он смотрит на своих товарищей с почтительным изумлением; он еще никогда не видал таких; он считает их самым высшим обществом, которое только может быть в свете. Неужели наказание для этих двух одинаково чувствительно? Но, впрочем, что заниматься неразрешимыми вопросами! Бьет барабан, пора по казармам.

IV. Первые впечатления

Началась последняя поверка. После этой поверки запирались казармы, каждая особым замком, и арестанты оставались запертыми вплоть до рассвета.

Поверка производилась унтер-офицером с двумя солдатами. Для этого арестантов выстраивали иногда на дворе, и приходил караульный офицер. Но чаще вся эта церемония происходила домашним образом: поверяли по казармам. Так было и теперь. Поверяющие часто ошибались, обсчитывались, уходили и возвращались снова. Наконец, бедные караульные досчитались до желанной цифры и заперли казарму. В ней помещалось человек до тридцати арестантов, сбитых довольно тесно на нарах. Спать было еще рано. Каждый, очевидно, должен был чем-нибудь заняться.

Из начальства в казарме оставался только один инвалид, о котором я уже упоминал прежде. В каждой казарме тоже был старший из арестантов, назначаемый самим плац-майором, разумеется за хорошее поведение. Очень часто случалось, что и старшие в свою очередь попадались в серьезных шалостях; тогда их секли, немедленно разжаловали в младшие и замещали другими. В нашей казарме старшим оказался Аким Акимыч, который, к удивлению моему, нередко покрикивал на арестантов. Арестанты отвечали ему обыкновенно насмешками. Инвалид был умнее его и ни во что не вмешивался, а если и случалось ему шевелить когда языком, то не более как из приличия, для очистки совести. Он молча сидел на своей койке и тачал сапог. Арестанты не обращали на него почти никакого внимания.

В этот первый день моей осторожной жизни я сделал одно наблюдение и впоследствии убедился, что оно верно. Именно: что все не арестанты, кто бы они ни были, начиная с непосредственно имеющих связь с арестантами, как то: конвойных, караульных солдат, до всех вообще, имевших хоть какое-нибудь дело с каторжным бытом, – как-то преувеличенно смотрят на арестантов. Точно они каждую минуту в беспокойстве ожидают, что арестант нет-нет да и бросится на кого-нибудь из них с ножом. Но что всего замечательнее – сами арестанты сознавали, что их боятся, и это, видимо, придавало им что-то вроде куражу. А между тем самый лучший начальник для арестантов бывает именно тот, который их не боится. Да и вообще, несмотря на кураж, самим арестантам гораздо приятнее, когда к ним имеют доверие. Этим их можно даже привлечь к себе. Случалось в мое осторожное время, хотя и чрезвычайно редко, что кто-нибудь из начальства заходил в острог без конвоя. Надо было видеть, как это поражало арестантов, и поражало с хорошей стороны. Такой бесстрашный посетитель всегда возбуждал к себе уважение, и если б даже действительно могло случиться что-нибудь дурное, то при нем бы оно не случилось. Внушаемый арестантами страх повсеместен, где только есть арестанты, и, право, не знаю, отчего он собственно происходит. Некоторое основание он, конечно, имеет, начиная с самого наружного вида арестанта, признанного разбойника; кроме того, всякий, подходящий к каторге, чувствует, что вся эта куча людей собралась здесь не своею охотою и что, несмотря ни на какие меры, живого человека нельзя сделать трупом; он останется с чувствами, с жаждой мщенья и жизни, с страстями и с потребностями удовлетворить их. Но, несмотря на то, я положительно уверен, что бояться арестантов все-таки нечего. Не так легко и не так скоро бросается человек с ножом на другого человека. Одним словом, если и возможна опасность, если она и бывает когда, то, по редкости подобных несчастных случаев, можно прямо заключить, что она ничтожна. Разумеется, я говорю теперь только об арестантах решеных, из которых даже многие рады, что добрались, наконец, до острога (до того хороша бывает иногда жизнь новая!), а следовательно, расположены жить спокойно и мирно; да, кроме того, и действительно беспокойным из своих сами не дадут много куражиться. Каждый каторжный, как бы он смел и дерзок ни был, боится всего в каторге. Подсудимый же арестант – другое дело. Этот действительно способен броситься на постороннего человека так, ни за что, единственно

потому, например, что ему завтра должно выходить к наказанию; а если затеется новое дело, то, стало быть, отдалается и наказание. Тут есть причина, цель нападения: это – «переменить свою участь» во что бы ни стало и как можно скорее. Я даже знаю один странный психологический случай в этом роде.

У нас в остроге, в военном разряде, был один арестант, из солдатиков, не лишенный прав состояния, присланный года на два в острог по суду, страшный фанфарон и замечательный трус. Вообще фанфаронство и трусость встречаются в русском солдате чрезвычайно редко. Наш солдат смотрит всегда таким занятым, что если б и хотел, то ему бы некогда было фанфаронить. Но если уж он фанфарон, то почти всегда бездельник и трус. Дутов (фамилия арестанта) отбыл, наконец, свой коротенький срок и вышел опять в линейный батальон. Но так как все ему подобные, посылаемые в острог для исправления, окончательно в нем балуются, то обыкновенно и случается так, что они, побыв на воле не более двух-трех недель, поступают снова под суд и являются в острог обратно, только уж не на два или на три года, а во «всегдашний» разряд, на пятнадцать или на двадцать лет. Так и случилось. Недели через три по выходе из острога Дутов украл из-под замка; сверх того нагрубил и набуянил. Был отдан под суд и приговорен к строгому наказанию. Испугавшись предстоящего наказания донельзя, до последней степени, как самый жалкий трус, он накануне того дня, когда его должны были прогнать сквозь строй, бросился с ножом на вошедшего в арестантскую комнату караульного офицера. Разумеется, он очень хорошо понимал, что таким поступком он чрезвычайно усилит свой приговор и срок каторжной работы. Но расчет был именно в том, чтоб хоть на несколько дней, хоть на несколько часов отдалить страшную минуту наказания! Он до того был трус, что, бросившись с ножом, он даже не ранил офицера, а сделал всё для проформы, для того только, чтоб оказалось новое преступление, за которое бы его опять стали судить.

Минута перед наказанием, конечно, ужасна для приговоренного, и мне в несколько лет пришлось видеть довольно подсудимых накануне рокового для них дня. Обыкновенно я встречался с подсудимыми арестантами в госпитале, в арестантских палатах, когда лежал больной, что случалось довольно часто. Известно всем арестантам во всей России, что самые сострадательные для них люди – доктора. Они никогда не делают между арестантами различия, как невольно делают почти все посторонние, кроме разве одного простого народа. Тот никогда не корит арестанта за его преступление, как бы ужасно оно ни было, и прощает ему все за понесенное им наказание и вообще за несчастье. Недаром же весь народ во всей России называет преступление несчастьем, а преступников несчастными. Это глубоко знаменательное определение. Оно тем более важно, что сделано бессознательно, инстинктивно. Доктора же – истинное прибежище арестантов во многих случаях, особенно для подсудимых, которые содержатся тяжелее решеных... И вот подсудимый, рассчитав вероятный срок ужасного для него дня, уходит часто в госпиталь, желая хоть сколько-нибудь отдалить тяжелую минуту. Когда же он обратно выписывается, почти наверно зная, что роковой срок завтра, то всегда почти бывает в сильном волнении. Иные стараются скрыть свои чувства из самолюбия, но неловкий, напускной кураж не обманывает их товарищей. Все понимают, в чем дело, и молчат про себя из человеколюбия. Я знал одного арестанта, молодого человека, убийцу, из солдат, приговоренного к полному числу палок.⁴⁶ Он до того заробел, что накануне наказания решил выпить крышку вина, настояв в нем нюхательного табаку.⁴⁷ Кстати: вино всегда является у подсудимого арестанта перед наказанием. Оно проносится еще задолго до срока, добывается за большие деньги, и подсудимый скорее будет полгода отказывать себе в самом необходимом, но скопит нужную сумму на четверть штофа вина, чтоб выпить его за четверть часа до наказания. Между

⁴⁶ ...к полному числу палок. – По уставу 1839 г. высшей мерой телесного наказания был приговор к шести тысячам шпицрутен. Но в действительности негласно это количество было сокращено до трех тысяч.

⁴⁷ ...накануне наказания решил выпить крышку вина, настояв в нем нюхательного табаку. – Достоевский вспоминает тот же эпизод в повести «Дядюшкин сон» (гл. XV),

арестантами вообще существует убеждение, что хмельной не так больно чувствует плеть или палки. Но я отвлекся от рассказа. Бедный малый, выпив свою крышку вина, действительно тотчас же сделался болен; с ним началась рвота с кровью, и его отвезли в госпиталь почти бесчувственного. Эта рвота до того расстроила его грудь, что через несколько дней в нем открылись признаки настоящей чахотки, от которой он умер через полгода. Доктора, лечившие его от чахотки, не знали, отчего она произошла.

Но, рассказывая о часто встречающемся малодушии преступников перед наказанием, я должен прибавить, что, напротив, некоторые из них изумляют наблюдателя необыкновенным бесстрашием. Я помню несколько примеров отваги, доходившей до какой-то бесчувственности, и примеры эти были не совсем редки. Особенно помню я мою встречу с одним страшным преступником. В один летний день распространился в арестантских палатах слух, что вечером будут наказывать знаменитого разбойника Орлова, из беглых солдат, и после наказания приведут в палаты. Больные арестанты в ожидании Орлова утверждали, что накажут его жестоко. Все были в некотором волнении, и, признаюсь, я тоже ожидал появления знаменитого разбойника с крайним любопытством. Давно уже я слышал о нем чудеса. Это был злодей, каких мало, резавший хладнокровно стариков и детей, – человек с страшной силой воли и с гордым сознанием своей силы. Он повинился во многих убийствах и был приговорен к наказанию палками сквозь строй. Привели его уже вечером. В палате уже стало темно, и зажгли свечи. Орлов был почти без чувств, страшно бледный, с густыми, включенными, черными как смоль волосами. Спина его вспухла и была кроваво-синего цвета. Всю ночь ухаживали за ним арестанты, переменяли ему воду, переворачивали его с боку на бок, давали лекарство, точно они ухаживали за кровным родным, за каким-нибудь своим благодетелем. На другой же день он очнулся вполне и прошелся раза два по палате! Это меня изумило: он прибыл в госпиталь слишком слабый и измученный. Он прошел зараз целую половину всего предназначенного ему числа палок. Доктор остановил экзекуцию только тогда, когда заметил, что дальнейшее продолжение наказания грозило преступнику неминуемой смертью. Кроме того, Орлов был малого роста и слабого сложения, и к тому же истощен долгим содержанием под судом. Кому случалось встречать когда-нибудь подсудимых арестантов, тот, вероятно, надолго запомнил их изможденные, худые и бледные лица, лихорадочные взгляды. Несмотря на то, Орлов быстро поправлялся. Очевидно, внутренняя, душевная его энергия сильно помогала натуре. Действительно, это был человек не совсем обыкновенный. Из любопытства я познакомился с ним ближе и целую неделю изучал его. Положительно могу сказать, что никогда в жизни я не встречал более сильного, более железного характером человека, как он. Я видел уже раз, в Тобольске, одну знаменитость в таком же роде, одного бывшего атамана разбойников. Тот был дикий зверь вполне, и вы, стоя возле него и еще не зная его имени, уже инстинктом предчувствовали, что подле вас находится страшное существо. Но в том ужасало меня духовное отупение. Плоть до того брала верх над всеми его душевными свойствами, что вы с первого взгляда по лицу его видели, что тут осталась только одна дикая жажда телесных наслаждений, сладострастия, плотоугодия. Я уверен, что Коренев – имя того разбойника – даже упал бы духом и трепетал бы от страха перед наказанием, несмотря на то, что способен был резать даже не поморщившись. Совершенно противоположен ему был Орлов. Это была наяву полная победа над плотью. Видно было, что этот человек мог повелевать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели. Между прочим, я поражен был его странным высокомерием. Он на всё смотрел как-то до невероятности свысока, но вовсе не усиливаясь подняться на ходули, а так, как-то натурально. Я думаю, не было существа в мире, которое бы могло подействовать на него одним авторитетом. На все он смотрел как-то неожиданно спокойно, как будто не было ничего на свете, что бы могло удивить его. И хотя он вполне понимал, что другие арестанты смотрят на него уважительно, но несколько

не рисовался перед ними. А между тем тщеславие и заносчивость свойственны почти всем арестантам без исключения. Был он очень неглуп и как-то странно откровенен, хотя отнюдь не болтлив. На вопросы мои он прямо отвечал мне, что ждет выздоровления, чтоб поскорей выходить остальное наказание, и что он боялся сначала, перед наказанием, что не перенесет его. «Но теперь, – прибавил он, подмигнув мне глазом, – дело кончено. Выхожу остальное число ударов, и тотчас же отправят с партией в Нерчинск, а я-то с дороги бегу! Непременно бегу! Вот только б скорее спина зажила!» И все эти пять дней он с жадностью ждал, когда можно будет проситься на выписку. В ожидании же он был иногда очень смешлив и весел. Я пробовал с ним заговаривать об его похождениях. Он немного хмурился при этих расспросах, но отвечал всегда откровенно. Когда же понял, что я добиваюсь до его совести и добиваюсь в нем хоть какого-нибудь раскаяния, то взглянул на меня до того презрительно и высокомерно, как будто я вдруг стал в его глазах каким-то маленьким, глупеньким мальчиком, с которым нельзя и рассуждать, как с большими. Даже что-то вроде жалости ко мне изобразилось в лице его. Через минуту он расхохотался надо мной самым простодушным смехом, без всякой иронии, и, я уверен, оставшись один и вспоминая мои слова, может быть, несколько раз он принимался про себя смеяться. Наконец, он выписался еще с не совсем поджившей спиной; я тоже пошел в этот раз на выписку, и из госпиталя нам случилось возвращаться вместе: мне в острог, а ему в кордегардию подле нашего острога, где он содержался и прежде. Прощаясь, он пожал мне руку, и с его стороны это был знак высокой доверенности. Я думаю, он сделал это потому, что был очень доволен собой и настоящей минутой. В сущности он не мог не презирать меня и непременно должен был глядеть на меня, как на существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед ним низшее. Назавтра же его вывели к вторичному наказанию...

Когда заперли нашу казарму, она вдруг приняла какой-то особенный вид – вид настоящего жилища, домашнего очага. Только теперь я мог видеть арестантов, моих товарищей, вполне как дома. Днем унтер-офицеры, караульные и вообще начальство могут во всякую минуту прибыть в острог, а потому все обитатели острога как-то и держат себя иначе, как будто не вполне успокоившись, как будто поминутно ожидая чего-то, в какой-то тревоге. Но только что заперли казарму, все тотчас же спокойно разместились, каждый на своем месте, и почти каждый принялся за какое-нибудь рукоделье. Казарма вдруг осветилась. Каждый держал свою свечу и свой подсвечник, большею частью деревянный. Кто засел тачать сапоги, кто шить какую-нибудь одежду. Мефитический⁴⁸ воздух казармы усиливался с часу на час. Кучка гуляк засела в уголку на корточках перед разостланным ковром за карты. Почти в каждой казарме был такой арестант, который держал у себя аршинный худенький коврик, свечку и до невероятности засаленные, жирные карты. Все это вместе называлось: майдан. Содержатель получал плату с играющих, копеек пятнадцать за ночь; тем он и промышлял. Игроки играли обыкновенно в три листа, в горку и проч. Все игры были азартные. Каждый играющий высыпал перед собою кучу медных денег – все, что у него было в кармане, и вставал с корточек, только проигравшись в пух или обыграв товарищей. Игра кончалась поздно ночью, а иногда длилась до рассвета, до самой той минуты, как отворялась казарма. В нашей комнате, так же как и во всех других казармах острога, всегда бывали нищие, байгуши,⁴⁹ проигравшиеся и пропившиеся или так просто, от природы нищие. Я говорю «от природы» и особенно напеваю на это выражение. Действительно, везде в народе нашем, при какой бы то ни было обстановке, при каких бы то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые странные личности, смиренные и нередко очень неленивые, но которым уж так судьбой предназначено на веки вечные оставаться нищими. Они всегда бобыли, они всегда неряхи, они всегда смотрят какими-то забитыми и чем-то удрученными и вечно состоят у кого-нибудь на помычке, у кого-нибудь

⁴⁸ *Мефитический* (от лат. *mephiticus*) – удушливый, зловонный.

⁴⁹ *Байгуши* (каз.) – кочевник, впавший в нищету.

на посылках, обыкновенно у гуляк или у внезапно разбогатевших и возвысившихся. Всякий почин, всякая инициатива – для них горе и тягость. Они как будто и родились с тем условием, чтоб ничего не начинать самим и только прислуживать, жить не своей волей, плясать по чужой дудке; их назначение – исполнять одно чужое. В довершение всего никакие обстоятельства, никакие перевороты не могут их обогатить. Они всегда нищие. Я заметил, что такие личности водятся и не в одном народе, а во всех обществах, сословиях, партиях, журналах и ассоциациях. Так-то случалось и в каждой казарме, в каждом остроге, и только что составлялся майдан,⁵⁰ один из таких немедленно являлся прислуживать. Да и вообще ни один майдан не мог обойтись без прислужника. Его нанимали обыкновенно игроки все вообще, на всю ночь, копеек за пять серебром, и главная его обязанность была стоять всю ночь на карауле. Большею частью он мерз часов шесть или семь в темноте, в сенях, на тридцатиградусном морозе, прислушиваясь к каждому стуку, к каждому звону, к каждому шагу на дворе. Плац-майор или караульные являлись иногда в острог довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющих, и работающих, и лишние свечи, которые можно было видеть еще со двора. По крайней мере, когда вдруг начинал греметь замок на дверях из сеней на двор, было уже поздно прятаться, тушить свечи и улегаться на нары. Но так как караульному прислужнику после того больно доставалось от майдана, то и случаи таких промахов были чрезвычайно редки. Пять копеек, конечно, смешно-ничтожная плата, даже и для острога; но меня всегда поражала в остроге суровость и безжалостность нанимателей, и в этом и во всех других случаях. «Деньги взял, так и служи!» Это был аргумент, не терпевший никаких возражений. За выданный грош наниматель брал все, что мог брать, брал, если возможно, лишнее и еще считал, что он одождает наемщика. Гуляка, хмельной, бросающий деньги направо и налево без счету, непременно обсчитывал своего прислужника, и это заметил я не в одном остроге, не у одного майдана.

Я сказал уже, что в казарме почти все уселись за какие-нибудь занятия: кроме игроков, было не более пяти человек совершенно праздных; они тотчас же легли спать. Мое место на нарах приходилось у самой двери. С другой стороны нар, голова с головой со мною, помещался Аким Акимыч. Часов до десяти или до одиннадцати он работал, клеил какой-то разноцветный китайский фонарик, заказанный ему в городе, за довольно хорошую плату. Фонарики он делал мастерски, работал методически, не отрываясь; когда же кончил работу, то аккуратно прибрался, разостлал свой тюфячок, помолился богу и благонаравно улегся на свою постель. Благонаравие и порядок он простирали, по-видимому, до самого мелочного педантизма; очевидно, он должен был считать себя чрезвычайно умным человеком, как и вообще все тупые и ограниченные люди. Не понравился он мне с первого же дня, хотя, помню, в этот первый день я много о нем раздумывал и всего более дивился, что такая личность, вместо того чтоб успевать в жизни, очутилась в остроге. Впоследствии мне не раз придется говорить об Акиме Акимыче.

Но опишу вкратце состав всей нашей казармы. В ней приходилось мне жить много лет, и это всё были мои будущие сожители и товарищи. Понятно, что я вглядывался в них с жадным любопытством. Слева от моего места на нарах помещалась кучка кавказских горцев, присланных большею частью за грабежи и на разные сроки. Их было: два лезгина, один чеченец и трое дагестанских татар. Чеченец был мрачное и угрюмое существо; почти ни с кем не говорил и постоянно смотрел вокруг себя с ненавистью, исподлобья и с отравленной, злобно-насмешливой улыбкой. Один из лезгинов был уже старик, с длинным, тонким, горбатым носом, отъявленный разбойник с виду. Зато другой, Нурра, произвел на меня с первого же дня самое отрадное, самое милое впечатление. Это был человек еще нестарый, росту невысокого, сложенный, как геркулес, совершенный блондин с светло-голубыми глазами, курносый, с лицом чухонки и с кривыми ногами от постоянной прежней езды верхом. Всё тело его было изрублено, изранено штыками и пулями. На Кавказе он был мирной, но постоянно уезжал потихоньку к немирным

⁵⁰ *Майдан* (тюрк.) – базарная площадь в станице; на воровском жаргоне – карточная игра.

горцам и оттуда вместе с ними делал набеги на русских. В каторге его все любили. Он был всегда весел, приветлив ко всем, работал безропотно, спокоен и ясен, хотя часто с негодованием смотрел на гадость и грязь арестантской жизни и возмущался до ярости всяким воровством, мошенничеством, пьянством и вообще всем, что было нечестно; но ссор не затевал и только отворачивался с негодованием. Сам он во всё продолжение своей каторги не украл ничего, не сделал ни одного дурного поступка. Был он чрезвычайно богомолен. Молитвы исполнял он свято; в посты перед магометанскими праздниками постился как фанатик и целые ночи выстаивал на молитве. Его все любили и в честность его верили. «Нурра – лев», – говорили арестанты; так за ним и оставалось название льва. Он совершенно был уверен, что по окончании определенного срока в каторге его воротят домой на Кавказ, и жил только этой надеждой. Мне кажется, он бы умер, если бы ее лишился. В первый же мой день в остроге я резко заметил его. Нельзя было не заметить его доброго, симпатизирующего лица среди злых, угрюмых и насмешливых лиц остальных каторжных. В первые полчаса, как я пришел в каторгу, он, проходя мимо меня, потрепал по плечу, добродушно смеясь мне в глаза. Я не мог сначала понять, что это означало. Говорил же он по-русски очень плохо. Вскоре после того он опять подошел ко мне и опять, улыбаясь, дружески ударил меня по плечу. Потом опять и опять, и так продолжалось три дня. Это означало с его стороны, как догадался я и узнал потом, что ему жаль меня, что он чувствует, как мне тяжело знакомиться с острогом, хочет показать мне свою дружбу, ободрить меня и уверить в своем покровительстве. Добрый и наивный Нурра!

Дагестанских татар было трое, и все они были родные братья. Два из них уже были пожилые, но третий, Алей,⁵¹ был не более двадцати двух лет, а на вид еще моложе. Его место на нарах было рядом со мною. Его прекрасное, открытое, умное и в то же время добродушно-наивное лицо с первого взгляда привлекло к нему мое сердце, и я так рад был, что судьба послала мне его, а не другого кого-нибудь в соседи. Вся душа его выражалась на его красивом, можно даже сказать – прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива, так детски простодушна; большие черные глаза были так мягки, так ласковы, что я всегда чувствовал особое удовольствие, даже облегчение в тоске и в грусти, глядя на него. Я говорю не преувеличивая. На родине старший брат его (старших братьев у него было пять; два других попали в какой-то завод) однажды велел ему взять шашку и садиться на коня, чтобы ехать вместе в какую-то экспедицию. Уважение к старшим в семействах горцев так велико, что мальчик не только не посмел, но даже и не подумал спросить, куда они отправляются. Те же не сочли и за нужное сообщать ему это. Все они ехали на разбой, подстеречь на дороге богатого армянского купца и ограбить его. Так и случилось: они перерезали конвой, зарезали армянина и разграбили его товар. Но дело открылось: их взяли всех шестерых, судили, уличили, наказали и сослали в Сибирь, в каторжные работы. Всю милость, которую сделал суд для Алея, был уменьшенный срок наказания; он сослан был на четыре года. Братья очень любили его и скорее какою-то отеческою, чем братскою любовью. Он был им утешением в их ссылке, и они, обыкновенно мрачные и угрюмые, всегда улыбались, на него глядя, и когда заговаривали с ним (а говорили они с ним очень мало, как будто все еще считая его за мальчика, с которым нечего говорить о серьезном), то суровые лица их разглаживались, и я угадывал, что они с ним говорят о чем-нибудь шутилом, почти детском, по крайней мере они всегда переглядывались и добродушно усмехались, когда бывало, выслушают его ответ. Сам же он почти не смел с ними заговаривать: до того доходила его почтительность. Трудно представить себе, как этот мальчик во все время своей каторги мог сохранить в себе такую мягкость сердца, образовать в себе такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не загрузеть, не развратиться. Это, впрочем, была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узнал его впоследствии.

⁵¹ ...Алей ... – В письме к брату по выходе из каторги Достоевский упоминает о молодом черкесе, «присланном в каторгу за разбой», очевидно, о том же Алее, которого он учил русскому языку и грамоте.

Он был целомудрен, как чистая девочка, и чей-нибудь скверный, цинический, грязный или несправедливый, насильный поступок в остроге зажигал огонь негодования в его прекрасных глазах, которые делались оттого еще прекраснее. Но он избегал ссор и брани, хотя был вообще не из таких, которые бы дали себя обидеть безнаказанно, и умел за себя постоять. Но ссор он ни с кем не имел: его все любили и все ласкали. Сначала со мной он был только вежлив. Мало-помалу я начал с ним разговаривать; в несколько месяцев он выучился прекрасно говорить по-русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Он мне показался чрезвычайно умным мальчиком, чрезвычайно скромным и деликатным и даже много уже рассуждавшим. Вообще скажу заранее: я считаю Алея далеко не обыкновенным существом и вспоминаю о встрече с ним, как об одной из лучших встреч в моей жизни. Есть природы до того прекрасные от природы, до того награжденные богом, что даже одна мысль о том, что они могут когда-нибудь измениться к худшему, вам кажется невозможной. За них вы всегда спокойны. Я и теперь спокоен за Алея. Где-то он теперь?..

Раз, уже довольно долго после моего прибытия в острог, я лежал на нарах и думал о чем-то очень тяжелом. Алей, всегда работающий и трудолюбивый, в этот раз ничем не был занят, хотя еще было рано спать. Но у них в это время был свой мусульманский праздник, и они не работали. Он лежал, заложив руки за голову, и тоже о чем-то думал. Вдруг он спросил меня:

– Что, тебе очень теперь тяжело?

Я оглядел его с любопытством, и мне показался странным этот быстрый прямой вопрос от Алея, всегда деликатного, всегда разборчивого, всегда умного сердцем: но, взглянув внимательнее, я увидел в его лице столько тоски, столько муки от воспоминаний, что тотчас же нашел, что ему самому было очень тяжело и именно в эту самую минуту. Я высказал ему мою догадку. Он вздохнул и грустно улыбнулся. Я любил его улыбку, всегда нежную и сердечную. Кроме того, улыбаясь, он выставлял два ряда жемчужных зубов, красоте которых могла бы позавидовать первая красавица в мире.

– Что, Алей, ты, верно, сейчас думал о том, как у вас в Дагестане празднуют этот праздник? Верно, там хорошо?

– Да, – отвечал он с восторгом, и глаза его просияли. – А почему ты знаешь, что я думал об этом?

– Еще бы не знать! Что, там лучше, чем здесь?

– О! зачем ты это говоришь...

– Должно быть, теперь какие цветы у вас, какой рай!..

– О-ох, и не говори лучше. – Он был в сильном волнении.

– Послушай, Алей, у тебя была сестра?

– Была, а что тебе?

– Должно быть, она красавица, если на тебя похожа.

– Что на меня! Она такая красавица, что по всему Дагестану нет лучше. Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видал такую! У меня и мать красавица была.

– А любила тебя мать?

– Ах! Что ты говоришь! Она, верно, умерла теперь с горя по мне. Я любимый был у нее сын. Она меня больше сестры, больше всех любила... Она ко мне сегодня во сне приходила и надо мной плакала.

Он замолчал и в этот вечер уже больше не сказал ни слова. Но с этих пор он искал каждый раз говорить со мной, хотя сам из почтения, которое он неизвестно почему ко мне чувствовал, никогда не заговаривал первый. Зато очень был рад, когда я обращался к нему. Я расспрашивал его про Кавказ, про его прежнюю жизнь. Братья не мешали ему со мной разговаривать, и им даже это было приятно. Они тоже, видя, что я все более и более люблю Алея, стали со мной гораздо ласковее.

Алей помогал мне в работе, услуживал мне, чем мог в казармах, и видно было, что ему очень приятно было хоть чем-нибудь облегчить меня и угодить мне, и в этом старании угодить не было ни малейшего унижения или искания какой-нибудь выгоды, а теплое, дружеское чувство, которое он уже и не скрывал ко мне. Между прочим, у него было много способностей механических; он выучился порядочно шить белье, тачал сапоги и впоследствии выучился, сколько мог, столярному делу. Братья хвалили его и гордились им.

– Послушай, Алей, – сказал я ему однажды, – отчего ты не выучишься читать и писать по-русски? Знаешь ли, как это может тебе пригодиться здесь, в Сибири, впоследствии?

– Очень хочу. Да у кого выучиться?

– Мало ли здесь грамотных! Да хочешь, я тебя выучу?

– Ах, выучи, пожалуйста! – и он даже привстал на нарах и с мольбою сложил руки, смотря на меня.

Мы принялись с следующего же вечера. У меня был русский перевод Нового завета⁵² – книга, не запрещенная в остроге. Без азбуки, по одной этой книге, Алей в несколько недель выучился превосходно читать. Месяца через три он уже совершенно понимал книжный язык. Он учился с жаром, с увлечением.

Однажды мы прочли с ним всю Нагорную проповедь.⁵³ Я заметил, что некоторые места в ней он проговаривал как будто с особенным чувством.

Я спросил его, нравится ли ему то, что он прочел.

Он быстро взглянул, и краска выступила на его лице.

– Ах, да! – отвечал он, – да, Иса святой пророк,⁵⁴ Иса божий слова говорил. Как хорошо!

– Что ж тебе больше всего нравится?

– А где он говорит: прощай, люби, не обижай и врагов люби. Ах, как хорошо он говорит!

Он обернулся к братьям, которые прислушивались к нашему разговору, и с жаром начал им говорить что-то. Они долго и серьезно говорили между собою и утвердительно покачивали головами. Потом с важно-благосклонною, то есть чисто мусульманскою улыбкою (которую я так люблю и именно люблю важность этой улыбки) обратились ко мне и подтвердили: что Иса был божий пророк и что он делал великие чудеса; что он сделал из глины птицу, дунул на нее, и она полетела... и что это и у них в книгах написано.⁵⁵ Говоря это, они вполне были уверены, что делают мне великое удовольствие, восхваляя Ису, а Алей был вполне счастлив, что братья его решились и захотели сделать мне это удовольствие.

Письмо у нас пошло тоже чрезвычайно успешно. Алей достал бумаги (и не позволил мне купить ее на мои деньги), перьев, чернил и в каких-нибудь два месяца выучился превосходно писать. Это даже поразило его братьев. Гордость и довольство их не имели пределов. Они не знали, чем возблагодарить меня. На работах, если нам случалось работать вместе, они наперерыв помогали мне и считали это себе за счастье. Я уже не говорю про Алея. Он любил меня, может быть так же, как и братьев. Никогда не забуду, как он выходил из острога. Он отвел меня за казарму и там бросился мне на шею и заплакал. Никогда прежде он не целовал меня и не плакал. «Ты для меня столько сделал, столько сделал, – говорил он, – что отец мой, мать мне бы столько не сделали: ты меня человеком сделал, бог заплатит тебе, а я тебя никогда не забуду...»

Где-то, где-то теперь мой добрый, милый, милый Алей!..

⁵² ...перевод Нового завета – книга, не запрещенная в остроге. – Существовало распоряжение Главного штаба Военного министерства на основании «высочайшего повеления» лицам, отданным в военную службу и в арестантские роты за политические преступления, «кроме духовных книг, других не давать».

⁵³ ...всю Нагорную проповедь. – В Нагорной проповеди, содержащейся в Евангелии, изложены основы христианского вероучения.

⁵⁴ ...Иса святой пророк ... – Иисус Христос в Коране назван Мессия Иса.

⁵⁵ ...он сделал из глины птицу... в книгах написано. – Имеется в виду Коран (Сура III, 43).

Кроме черкесов, в казармах наших была еще целая кучка поляков, составлявшая совершенно отдельную семью, почти не сообщавшуюся с прочими арестантами. Я сказал уже, что за свою исключительность, за свою ненависть к каторжным русским они были в свою очередь всеми ненавидимы. Это были натуры измученные, больные; их было человек шесть. Некоторые из них были люди образованные; об них я буду говорить особо и подробно впоследствии. От них же я иногда, в последние годы моей жизни в остроге, доставал кой-какие книги. Первая книга, прочтенная мною, произвела на меня сильное, странное, особенное впечатление. Об этих впечатлениях я когда-нибудь скажу особо. Для меня они слишком любопытны, и я уверен, что многим они будут совершенно непонятны. Не испытав, нельзя судить о некоторых вещах. Скажу одно: что нравственные лишения тяжелее всех мук физических. Простолюдин, идущий в каторгу, приходит в свое общество, даже, может быть, еще в более развитое. Он потерял, конечно, много – родину, семью, всё, но среда его остается та же. Человек образованный, подвергающийся по законам одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом... Это – рыба, вытасченная из воды на песок... И часто для всех одинаковое по закону наказание обращается для него вдесятеро мучительнейшее. Это истина... даже если б дело касалось одних материальных привычек, которыми надо пожертвовать.

Но поляки составляли особую цельную кучку. Их было шестеро, и они были вместе. Из всех каторжных нашей казармы они любили только одного жида, и, может быть, единственно потому, что он их забавлял. Нашего жидка, впрочем, любили даже и другие арестанты, хотя решительно все без исключения смеялись над ним. Он был у нас один, и я даже теперь не могу вспоминать о нем без смеху. Каждый раз, когда я глядел на него, мне всегда приходил на память Гоголев жидок Янкель из «Тараса Бульбы», который, раздевшись, чтоб отправиться на ночь с своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал ужасно похож на цыпленка. Исай Фомич, наш жидок, был как две капли воды похож на общипанного цыпленка. Это был человек уже немолодой, лет около пятидесяти, маленький ростом и слабосильный, хитренький и в то же время решительно глупый. Он был дерзок и заносчив и в то же время ужасно труслив. Весь он был в каких-то морщинках, и на лбу и на щеках его были клейма, положенные ему на эшафоте. Я никак не мог понять, как мог он выдержать шестьдесят плетей. Пришел он по обвинению в убийстве. У него был припрятан рецепт, доставленный ему от доктора его жидками тотчас же после эшафота. По этому рецепту можно было получить такую мазь, от которой недели в две могли сойти его клейма. Употребить эту мазь в остроге он не смел и выжидал своего двенадцатилетнего срока каторги, после которой, выйдя на поселение, непременно намеревался воспользоваться рецептом. «Не то нельзя будет зениться, – сказал он мне однажды, – а я непременно хочу зениться». Мы с ним были большие друзья. Он всегда был в превосходнейшем расположении духа. В каторге жить ему было легко; он был по ремеслу ювелир, был завален работой из города, в котором не было ювелира, и таким образом избавился от тяжелых работ. Разумеется, он в то же время был ростовщик и снабжал под проценты и залогов всю каторгу деньгами. Он пришел прежде меня, и один из поляков описывал мне подробно его прибытие. Это пресмешная история, которую я расскажу впоследствии; об Исае Фомиче я буду говорить еще не раз.

Остальной люд в нашей казарме состоял из четырех старообрядцев, стариков и начетчиков, между которыми был и старик из Стародубовских слобод; из двух-трех малороссов, мрачных людей, из молоденького каторжного, с тоненьким личиком и с тоненьким носиком, лет двадцати трех, уже убившего восемь душ, из кучки фальшивых монетчиков, из которых один был потешник всей нашей казармы, и, наконец, из нескольких мрачных и угрюмых личностей, обритых и обезображенных, молчаливых и завистливых, с ненавистью смотревших исподлобья кругом себя и намеревавшихся так смотреть, хмуриться, молчать и ненавистничать еще

долгие годы – весь срок своей каторги. Всё это только мелькнуло передо мной в этот первый, безотрадный вечер моей новой жизни – мелькнуло среди дыма и копоти, среди ругательств и невыразимого цинизма, в мефитическом воздухе, при звоне кандалов, среди проклятий и бесстыдного хохота. Я лег на голых нарах, положив в голову свое платье (подушки у меня еще не было), накрылся тулупом, но долго не мог заснуть, хотя и был весь измучен и изломан от всех чудовищных и неожиданных впечатлений этого первого дня. Но новая жизнь моя только еще начиналась. Многое еще ожидало меня впереди, о чем я никогда не мыслил, чего и не предугадывал...

V. Первый месяц

Три дня спустя по прибытии моем в острог мне велено было выходить на работу. Очень памятен мне этот первый день работы, хотя в продолжение его не случилось со мной ничего очень необыкновенного, по крайней мере взяв в соображение всё и без того необыкновенное в моем положении. Но это было тоже одно из первых впечатлений, а я еще продолжал ко всему жадно присматриваться. Все эти три первые дня я провел в самых тяжелых ощущениях. «Вот конец моего странствования: я в остроге! – повторял я себе поминутно, – вот пристань моя на многие, долгие годы, мой угол, в который я вступаю с таким недоверчивым, с таким болезненным ощущением... А кто знает? Может быть, – когда, через много лет, придется оставить его, – еще пожалею о нем!..» – прибавлял я не без примеси того злорадного ощущения, которое доходит иногда до потребности нарочно беречь свою рану, точно желая полюбоваться своей болью, точно в сознании всей великости несчастья есть действительно наслаждение. Мысль со временем пожалеть об этом угле – меня самого поражала ужасом: я и тогда уже предчувствовал, до какой чудовищной степени приживчив человек. Но это еще было впереди, а покамест теперь кругом меня все было враждебно и – страшно... хоть не всё, но, разумеется, так мне казалось. Это дикое любопытство, с которым оглядывали меня мои новые товарищи-каторжники, усиленная их суровость с новичком из дворян, вдруг появившимся в их корпорации, суровость, иногда доходившая чуть не до ненависти, – все это до того измучило меня, что я сам желал уж поскорее работы, чтоб только поскорее узнать и изведать все мое бедствие разом, чтоб начать жить, как и все они, чтоб войти со всеми поскорее в одну колею. Разумеется, я тогда многого не замечал и не подозревал, что у меня было под самым носом: между враждебным я еще не угадывал отрадного. Впрочем, несколько приветливых, ласковых лиц, которых я встретил даже в эти три дня, покамест сильно меня ободрили. Всех ласковее и приветливее со мной был Аким Акимыч. Между угрюмыми и ненавистливыми лицами остальных каторжных я не мог не заметить тоже несколько добрых и веселых. «Везде есть люди дурные, а между дурными и хорошие, – спешил я подумать себе в утешение, – кто знает? Эти люди, может быть, вовсе не до такой степени хуже тех, *остальных*, которые *остались* там, за острогом». Я думал это и сам качал головою на свою мысль, а между тем – боже мой! – если б я только знал тогда, до какой степени и эта мысль была правдой!

Вот, например, тут был один человек, которого только через много-много лет я узнал вполне, а между тем он был со мной и постоянно около меня почти во все время моей каторги. Это был арестант Сушилов. Как только заговорил я теперь о каторжниках, которые были *не хуже* других, то тотчас же невольно вспомнил о нем. Он мне прислуживал. У меня тоже был и другой прислужник, Аким Акимыч еще с самого начала, с первых дней, рекомендовал мне одного из арестантов – Осипа, говоря, что за тридцать копеек в месяц он будет мне стряпать ежедневно особое кушанье, если мне уж так противно казенное и если я имею средства завести свое. Осип был один из четырех поваров, назначаемых арестантами по выбору в наши две кухни, хотя, впрочем, оставлялось вполне и на их волю принять или не принять такой выбор; а приняв, можно было хоть завтра же опять отказаться. Повара уж так и не ходили на работу, и вся должность их состояла в печении хлеба и варке щей. Звали их у нас не поварами, а стряпками (в женском роде), впрочем, не из презрения к ним, тем более что на кухню выбирался народ толковый и по возможности честный, а так, из милой шутки, чем наши повара несколько не обижались. Осипа почти всегда выбирали, и почти несколько лет сряду он постоянно был стряпкой и отказывался иногда только на время, когда его уж очень забирала тоска, а вместе с тем и охота пронести вино. Он был редкой честности и кротости человек, хотя и пришел за контрабанду. Это был тот самый контрабандист, высокий, здоровый малый, о котором уже я упоминал; трус до всего, особенно до розог, смиренный, безответный, ласковый со всеми, ни с

кем *никогда* не поссорившийся, но который не мог не проносить вина, несмотря на всю свою трусость, по страсти к контрабанде. Он вместе с другими поварами торговал тоже вином, хотя, конечно, не в таком размере, как, например, Газин, потому что не имел смелости на многое рискнуть. С этим Осипом я всегда жил очень ладно. Что же касается до средств иметь свое кушанье, то их надо было слишком немного. Я не ошибусь, если скажу, что в месяц у меня выходило на мое прокормление всего рубль серебром, разумеется, кроме хлеба, который был казенный, и иногда щей, если уж я был очень голоден, несмотря на мое к ним отвращение, которое, впрочем, почти совсем прошло впоследствии. Обыкновенно я покупал кусок говядины, по фунту на день. А зимой говядина у нас стоила грош. За говядиной ходил на базар кто-нибудь из инвалидов, которых у нас было по одному в каждой казарме, для надсмотрщика за порядком, и которые сами, добровольно, взяли себе в обязанность ежедневно ходить на базар за покупками для арестантов и не брали за это почти никакой платы, так разве пустяки какие-нибудь. Делали они это для собственного спокойствия, иначе им невозможно бы было в остроге ужитья. Таким образом, они проносили табак, кирпичный чай, говядину, калачи и проч. и проч., кроме только разве одного вина. Об вине их не просили, хотя иногда и потчевали. Осип стряпал мне несколько лет сряду все один и тот же кусок зажаренной говядины. Уж как он был зажарен – это другой вопрос, да не в том было и дело. Замечательно, что с Осипом я в несколько лет почти не сказал двух слов. Много раз начинал заговаривать с ним, но он как-то был неспособен поддерживать разговор: улыбнется, бывало, или ответит *да* или *нет*, да и только. Даже странно было смотреть на этого Геркулеса семи лет от роду.

Но, кроме Осипа, из людей, мне помогавших, был и Сушилов. Я не призывал его и не искал его. Он как-то сам нашел меня и прикомандировался ко мне; даже не помню, когда и как это случилось. Он стал на меня стирать. За казармами для этого нарочно была устроена большая помойная яма. Над этой-то ямой, в казенных корытах, и мылось арестантское белье. Кроме того, Сушилов сам изобретал тысячи различных обязанностей, чтоб мне угодить: наставлял мой чайник, бегал по разным поручениям, отыскивал что-нибудь для меня, носил мою куртку в починку, смазывал мне сапоги раза четыре в месяц; все это делал усердно, суетливо, как будто бог знает какие на нем лежали обязанности, – одним словом, совершенно связал свою судьбу с моею и взял все мои дела на себя. Он никогда не говорил, например: «У вас столько рубашек, у вас куртка разорвана» и проч., а всегда: «У нас теперь столько-то рубашек, у нас куртка разорвана». Он так и смотрел мне в глаза и, кажется, принял это за главное назначение всей своей жизни. Ремесла, или, как говорят арестанты, рукомерла, у него не было никакого, и, кажется, только от меня он и добывал копейку. Я платил ему сколько мог, то есть грошами, и он всегда безответно оставался доволен. Он не мог не служить кому-нибудь и, казалось, выбрал меня особенно потому, что я был обходительнее других и честнее на расплату. Был он из тех, которые никогда не могли разбогатеть и поправиться и которые у нас брались сторожить майданы, простаивая по целым ночам в сенях на морозе, прислушиваясь к каждому звуку на дворе на случай плац-майора, и брали за это по пяти копеек серебром чуть не за всю ночь, а в случае просмотра теряли все и отвечали спиной. Я уж об них говорил. Характеристика этих людей – уничтожать свою личность всегда, везде и чуть не перед всеми, а в общих делах разыгрывать даже не второстепенную, а третьестепенную роль. Всё это у них уж так по природе. Сушилов был очень жалкий малый, вполне безответный и приниженный, даже забитый, хотя его и никто у нас не бил, а так уж от природы забитый. Мне его всегда было отчего-то жаль. Я даже и взглянуть на него не мог без этого чувства; а почему жаль – я бы сам не мог ответить. Разговаривать с ним я тоже не мог; он тоже разговаривать не умел, и видно, что ему это было в большой труд, и он только тогда оживлялся, когда, чтоб кончить разговор, дашь ему что-нибудь сделать, попросишь его сходить, сбегать куда-нибудь. Я даже, наконец, уверился, что доставляю ему этим удовольствие. Он был не высок и не мал ростом, не хорош и не дурен, не глуп и не умен, не молод и не стар, немножко рябоват, отчасти белокур. Слишком определительного

об нем никогда ничего нельзя было сказать. Одно только: он, как мне кажется и сколько я мог догадаться, принадлежал к тому же товариществу, как и Сироткин, и принадлежал единственно по своей забитости и безответности. Над ним иногда посмеивались арестанты, главное за то, что он *сменялся* дорогою, идя в партии в Сибирь, и сменился за красную рубашку и за рубль серебром. Вот за эту-то ничтожную цену, за которую он себя продал, над ним и смеялись арестанты. Смениться – значит перемениться с кем-нибудь именем, а следственно, и участью. Как ни чуден кажется этот факт, а он справедлив, и в мое время он еще существовал между препровождающимися в Сибирь арестантами в полной силе, освященный преданиями и определенный известными формами. Сначала я никак не мог этому поверить, хотя и пришлось, наконец, поверить очевидности.

Это вот каким образом делается. Препровождается, например, в Сибирь партия арестантов. Идут всякие: и в каторгу, и в завод, и на поселенье; идут вместе. Где-нибудь дорогою, ну хоть в Пермской губернии, кто-нибудь из ссыльных пожелает сменяться с другим. Например, какой-нибудь Михайлов, убийца или по другому капитальному преступлению, находит идти на многие годы в каторгу для себя невыгодным. Положим, он малый хитрый, тертый, дело знает; вот он и высматривает кого-нибудь из той же партии попростее, позабитее, побезответнее и которому определено наказание небольшое сравнительно: или в завод на малые годы, или на поселенье, или даже в каторгу, только поменьше сроком. Наконец, находит Сушилова. Сушилов из дворовых людей и сослан просто на поселенье. Идет он уже тысячи полторы верст, разумеется без копейки денег, потому что у Сушилова никогда не может быть ни копейки, – идет изнуренный, усталый, на одном казенном продовольстве, без сладкого куса хоть мимоходом, в одной казенной одежде, всем прислуживая за жалкие медные гроши. Михайлов заговаривает с Сушиловым, сходится, даже дружится и, наконец, на каком-нибудь этапе поит его вином. Наконец, предлагает ему: не хочет ли он сменяться? Я, дескать, Михайлов, вот так и так, иду в каторгу не каторгу, а в какое-то «особое отделение». Оно хоть и каторга, но особая, получше, стало быть. Об особом отделении, во время существования его, даже из начальства-то не все знали, хоть бы, например, и в Петербурге. Это был такой отдельный и особый уголок, в одном из уголков Сибири, и такой немногочисленный (при мне было в нем до семидесяти человек), что трудно было и на след его напасть. Я встречал потом людей, служивших и знающих о Сибири, которые от меня только в первый раз услышали о существовании «особого отделения». В Своде законов сказано об нем всего строк шесть: «Учреждается при таком-то остроге особое отделение, для самых важных преступников, впредь до открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ». Даже сами арестанты этого отделения не знали: что оно, навечно или на срок? Сроку не было положено, сказано – впредь до открытия самых тяжких работ, и только; стало быть, «вдоль по каторге». Немудрено, что ни Сушилов, да и никто из партии этого не знал, не исключая и самого сосланного Михайлова, который разве только имел понятие об особом отделении, судя по своему преступлению, слишком тяжкому и за которое уже он прошел тысячи три или четыре. Следственно, не пошлют же его в хорошее место. Сушилов же шел на поселение; чего же лучше? «Не хочешь ли сменяться?» Сушилов под хмельком, душа простая, полон благодарности к обласкавшему его Михайлову и потому не решается отказать. К тому же он слышал уже в партии, что меняться можно, что другие же меняются, следственно, необыкновенного и неслыханного тут нет ничего. Соглашаются. Бессовестный Михайлов, пользуясь необыкновенною простотою Сушилова, покупает у него имя за красную рубашку и за рубль серебром, которые тут же и дает ему при свидетелях. Назавтра Сушилов уже не пьян, но его поят опять, ну, да и плохо отказываться: полученный рубль серебром уже пропит, красная рубашка немного спустя тоже. Не хочешь, так деньги отдай. А где взять целый рубль серебром Сушилову? А не отдаст, так артель заставит отдать: за этим смотрят в артели строго. К тому же если дал обещание, то исполни, – и на этом артель настоит. Иначе сгрызут. Забьют, пожалуй, или просто убьют, по крайней мере застрашают.

В самом деле, допусти артель хоть один раз в таком деле поблажку, то и обыкновение смены именами кончится. Коли можно будет отказываться от обещания и нарушать сделанный торг, уже взявши деньги, – кто же будет его потом исполнять? Одним словом – тут артельное, общее дело, а потому и партия к этому делу очень строга. Наконец, Сушилов видит, что уж не отмолишься, и решается вполне согласиться. Объявляется всей партии; ну, там кого еще следует тоже дарят и поят, если надо. Тем, разумеется, все равно: Михайлов или Сушилов пойдут к черту на рога, ну, а вино-то выпито, угостили, – следственно, и с их стороны молчок. На первом же этапе делают, например, переключку; доходит до Михайлова: «Михайлов!» Сушилов откликается: *я*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.